

T 57 31

THE

REPUBLICAN

OF THE

GEORGIA



FOR THE

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ГЕОРГА БЮХНЕРА

GEORG BÜCHNER*

1813—1837

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕОРГ БЮХНЕР

СМЕРТЬ ДАНТОНА

ВОЙЧЕК

ПЕРЕВОД М. РЫЖКИНОЙ; ПОД
РЕДАКЦИЕЙ КОНСТ. ФЕДИНА.
СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ
А. К. ДЖИВЕЛЕГОВА

МОСКВА — МСМХХIV — ЛЕНИНГРАД

Государств. публичная
Историческая
Библиотека РСФСР

33506.25

Отпечатано 3.150 экз.
в тип. „Коминтерн“
Из-ва „Красная Новь“.
Гиз. № 7024
Ленинградский
Гублит 4522
Ленинград.



ГЕОРГ БЮХНЕР

Родился в 1813 году. Умер в 1837 году. Неполных жил двадцать четыре года. Итоги жизни: три пьесы, все более или менее незаконченные, одна превосходная — „Смерть Дантона“, „Леон и Лена“, „Войчек“; незаконченная тоже новелла „Ленц“; три философских труда — „История греческой философии“, „Система Спинозы“, „Система Декарта“; гениальная прокламация „Воззвание гессенским крестьянам“; стихи; отрывки; письма, в которых, особенно в письмах к Карлу Гущкову, целая система политического и социального мировоззрения; университетские курсы по сравнительной анатомии в Цюрихском университете. Немецкая литература и немецкая общественная мысль недаром оплакивают раннюю смерть этого удивительного юноши. Так же, как позднее русская литература и русская общественная мысль — смерть Добролюбова, умершего в том же возрасте и так же бесконечно много обещавшего.

Тридцатые годы. Германский союз. Меттерниховский режим. Начало передома. Июльская революция подрубила основы сколоченного на Венском конгрессе политического порядка и дала еще один, после 1814 — 1821 гг., сев конституций в мелких гоеударствах. Гамбахский праздник развязал языки. Скорпионы новых полицейских скрижалей 1834 года родились без утрашающей силы, которая была присуща Карлсбадским постановлениям в первое, по крайней мере, время. Хозяйство возрождалось от долгой спячки. Но слабо. Из общественных классов организовывалась только буржуазия. Крестьяне были забыты. Пролетариата не было еще почти совсем. Общественная мысль чувствовала себя более свободной. Она искала. Но то, что она находила, были главным образом либеральные доктрины, которые старались дать обоснование экономическим и политическим требованиям буржуазии: Фридрих Лист, Роттек-Велькер, Дутлингер и проч. Среди трудящихся классов царил безмолвие. Таково положение.

И эту черную мглу вдруг прорезывает молния. 1 августа 1834 года у городских ворот Гиссена, в великом герцогстве Гессен-Дармштадт, полиция арестовала студента Карла Миннигероде, прибывшего из Оффенбаха. У него нашли полтора экземпляра прокламации „Hessische Landbote“, „Воззвание к гессенским крестьянам“. Студента посадили, как полагалось. Прокламации конфисковали. Началось дело. Вскоре были арестованы пастор Фридрих Людвиг Вейдиг (род. в 1791 г.) и журналист Август Беккер, „Красный Беккер“ Маркова кружка 40-х годов и позднее. Через некоторое время из пределов герцогства скрылся молодой писатель Георг Бюхнер. Процесс тянулся долго. 19 февраля 1837 года в Цюрихе умер перебравшийся туда из Франции и ставший там доцентом по кафедре сравнительной анатомии Бюхнер. Через четыре дня, 23 февраля того же года, в тюрьме, замученный режимом, в припадке безумия Вейдиг перерезал себе горло осколком стекла. Тогда рыжий Беккер рассказал суду историю прокламации. Гессенское правительство уничтожило ее так хорошо, что остался один единственный экземпляр у брата Бюхнера, Людвига, знаменитого автора „Kraft und Stoff“, одного из основателей материалистического учения ¹⁾.

Прокламацию написал Бюхнер. Вейдиг, который был революционером постольку, поскольку способен был революционером священный меттерниховской Германии, влил в расплавленный металл бюхнерова революционного пафоса добрую порцию лампадного масла. Так прокламация и дошла до нас. Беккер своими показаниями на суде помог нам распознать дополнения Вейдига, но мы никогда не узнаем, что этот богобоязненный революционер выбросил из бюхнерова текста. Мы знаем, что, когда Бюхнер увидел свою брошюру в печати, он был до глубины души возмущен „поправками“ Вейдига и говорил, что тот вычеркнул у него именно то, чему сам он придавал наибольшее значение и что придавало смысл всему остальному. Мы знаем, в чем заключались два крупных изменения, сделанных Вейдигом. Всюду, где у Бюхнера стояло „богатые“, „die Reichen“, он поставил неопределенное „die Vornehmen“, слово которое означает знатных в бытовом, а не в социальном смысле. Этим, как увидим, была совершенно затуманена четкая социальная мысль Бюхнера. Но этого мало: Вейдиг разбил внутреннюю логику у Бюхнера, пересыпав воззвание цитатами из библии и божественными рассуждениями. Как будто это была воскресная проповедь, а не революционная прокламация. Август Беккер в процессе — после того как Бюхнер умер — передавал его основные точки зрения. Этими показаниями он топил Бюхнера юридически, что тому уже было не очень

¹⁾ По этому экземпляру Карл Эмиль Францоз перепечатал ее в изданном им полном собрании сочинений Бюхнера: „Georg Büchners sämtliche Werke mit handschriftlichem Nachlass“. Frankfurt a. M. 1879.

опасно, но зато окружил его имя сверкающим ореолом у потомства. Вот ход мысли Бюхнера в передаче Беккера ¹⁾.

Бюхнер думал, что попытки переворотов, которые беспрерывно замыслились, в разных местах Германии обречены были на неудачу заранее: либералам некого и нечего противопоставить правительственным войскам, кроме кучки интеллигентов. Массы не вовлечены в движение. А революция может совершиться только через посредство широких масс. Их именно нужно привлечь. Но чем? Политические лозунги, конституция, свобода печати, права человека им не скажут ничего. Потому что, когда мы говорим „массы“, нужно иметь в виду главным образом крестьян, а крестьянам эти вещи непонятны. Только на их равнодушие к политическим лозунгам зиждется их кажущаяся верность своим государям. Но они несомненно недовольны, и причины их недовольства очень ясны. Это их материальное положение: зависимость от помещика, скудные доходы, чрезвычайно тяжелые подати. Если агитация среди крестьян хочет иметь успех, она должна действовать именно на психику крестьянина, ущемленного в своем материальном бытии.

Почему Бюхнер думал, что нужно обращаться к крестьянам? Почему он считал крестьян главной революционной силой?

Будучи студентом, он много занимался историей французской революции, жил долго в Париже. В истории 1789 — 1799 гг. революционная роль крестьянства бросалась в глаза и уже была освещена в литературе. Отголосками французской революции в Германии — если исключить демократические движения в рейнских городах, поднятые буржуазной интеллигенцией, — были только крестьянские движения: по Рейну, в Гессен-Касселе, в Саксонии, в Силезии, где в движение были вовлечены также ткачи-кустари. О Гессен-Кассельском движении еще не забыли там, где жил Бюхнер. А самое главное: только что, в 1830 г. по герцогству пронеслось бурное, хотя и быстро подавленное крестьянское движение. Оно давало ему главные идейные толчки.

¹⁾ К счастью показания Беккера сохранились полностью. Несколько лет спустя после окончания процесса один добросовестный гессенский чиновник д-р Noeller издал, чтобы опровергнуть нападки печати на гессенское правительство по поводу этого процесса — были 40-е годы: писалось лучше и смелее — издал почти что стенограмму его (1844), „Aktenmäßige Darstellung des wegen Hochverrates eingeleiteten Verfahrens gegen Pfarrer Dr. F. L. Weidig“. Сомнительно, чтобы книга этого добросовестного чиновника кого-нибудь помирила с великогерцогским правительством. Но агитационного материала она дала сколько угодно. Мы не знаем, догадалось ли великогерцогское правительство лишить своего Hofgerichts-rath'a пенсии. Это было бы самым легким наказанием за его глупость.

Другого материала для социальных конструкций у Бюхнера не было. Городская демократия в Германии не была способна к революционным выступлениям: это показал Франкфуртский «путч» 1834 г. Рабочих в великой французской революции пришлось в некотором роде открывать в XX веке. В современной Франции пролетариат только-только формировался; он провел в 30-х годах несколько стачек, но роль его была заметна настолько мало, что даже Бюхнер с его чуткой душой и живым умом не был затронут сен-симонистской пропагандой, единственной серьезной. Одного из сен-симонистов (это, повидимому, был ученик Анфантена) он жестоко высмеял в письмах. В Германии роль пролетариата была заметна еще меньше. Должно было пройти около пятнадцати лет и должен был появиться Маркс, способный охватить взглядом все европейские арены промышленного труда, чтобы могла создаться идеология пролетарской революции.

В немецкой литературе часто ставится вопрос, был или не был Бюхнер социалистом. И не то жалеют, что он им не был, не то упрекают его за это. Такая постановка не чужда даже очень хорошей работе о Бюхнере Э. Давида.

Бюхнер не был социалистом. И так как он хотел в своих конструкциях оставаться на немецкой почве и исходить из существующих немецких отношений, — он и не мог быть социалистом. Бюхнер тем и интересен, что он остается в истории идеологом чистого крестьянского революционного движения. Это — вежа. Старший сверстник Бюхнера Людвиг Галль (1790—1863), который пытался в тридцатых годах пересадить в Германию фурийизм, не имел никакого успеха: его просто не услышали. В истории память о нем сохранилась больше, как об изобретателе метода научной фальсификации вина (галлизация), чем как о социалисте.

Таково самое естественное объяснение, почему Бюхнер — не социалист. Но у него свое особенное, повторяем, положение в истории. Он — идеолог чистой крестьянской революции в такой момент, когда еще была возможна чистая крестьянская революция. Пройдет два-три десятилетия, и делать ставку на чистую крестьянскую революцию будет либо утопией, либо глупостью. Пролетариат будет готов.

«Мир хижинам! Война дворцам!» — так начинается прокламация Бюхнера — лозунг, воспроизводившийся с тех пор на тысячах плакатов.

«Крестьянин идет за плугом, но знатный (поправка Вейдига: у Бюхнера было „богатый“) шествует позади него и плуга, погоняет его с волом. Он берет у крестьянина зерно и оставляет ему мякину. Жизнь крестьянина — непрерывный труд. Чужие у него на глазах съедают плоды трудов его. Его тело — сплошная мозоль. Его пот — соль на столе знатных (опять, вместо „богатых“).»

После энергичного, красноречивого вступления начинается расчет: сколько налогов платят крестьяне, сколько богатые и что кажда́я общественная группа получает за это от государства.

Дальше идут чудесные жанровые наброски, полные революционного пафоса. Вот герцог. „Подойдите ближе к этому человеку и загляните под его великогерцогскую мантию. Он ест, когда голоден, и спит, когда его клонит ко сну. Смотрите, он выполз на свет так же наг и мягок, как вы, его вынесут на кладбище таким же застывшим и похолодевшим, как и вас. И все-таки, его нога гнетет ваши спины... Княжеская мантия служит ковром, на котором бесстыдно валяются господа и дамы из аристократии. Под орденами и лентами прячут они свои болезни. Дорогими тканями украшают свои расплывшиеся от жира, покрытые струпами, тела. Дочери народа — их служанки и любовницы, сыновья — лакеи и солдаты. Пойдите хоть раз в Дармштадт, посмотрите, как господа там весело живут на ваши деньги. И расскажите голодным женам и детям, как на их хлебе господа отравили себе толстое брюхо... Все это вы терпите, потому что негодяи говорят: „это правительство — от бога“.

Потом о конституции, к которой Бюхнер относится столь же отрицательно, как и к герцогской власти. И не удивительно. В истории конституций немецкие княжеские конституции 30-х годов — классические образцы плохих конституций.

«Что представляют собою конституции в Германии? Не что иное, как пустую солому, зерна из которой вымолотили себе князья. Что такое наши ландтаги? Тяжелая на ходу, громоздкая телега, которая изредка может загородить путь разбойничьим нашествиям князей и министров, но на которой никогда нельзя будет построить неприступной твердыни немецкой свободы. Что представляют наши избирательные законы? Грубое нарушение гражданских и человеческих прав большинства немцев». Переходя к Гессен-Дармштадту и критикуя его конституцию и его ландтаг, Бюхнер спрашивает, что бы было, если бы в Гессен-Дармштадте все было хорошо. И отвечает: „Хищные коршуны из Вены и Берлина очень скоро протянули бы свои когти палачей и задушили бы свободу маленькой страны. Весь немецкий народ должен завоевать себе свободу. И это время, дорогие сограждане, недалеко“.

Дальше, до конца, разводит кадило и дымит ладаном Вейдиг. И только несколько бюхнеровских строк прорезывают цитаты из посланий апостольских и пророков. Вот эти строки: „Раскройте глаза и посчитайте кучку ваших угнетателей, которые сильны лишь кровью, высасываемую из вас, да помощью армии, состоящей из ваших сыновей и братьев. Их едва ли наберется 10.000 в Гессене, а вас — 700.000. Таково же численное отношение народа к его угнетателям и в остальной Германии“. У Бюхнера после этого, повидимому, следовало — должен был следовать — страстный призыв: „Восстаньте же и сокрушите врагов!“ А вместо этого елеинное перо пастора Вейдига вывело: „И пока не позовет вас господь через своих вестников и знамения, будьте на страже и укрепляйтесь духовно, молитесь сами и учите детей повторять

молитву: „Боже, да разрушится сила наших угнетателей и да придет царствие твое на земле: царство справедливости. Аминь“.

Смешение библейских цитат с революционными призывами было вещью очень обыкновенной в средние века, в эпоху реформации, в эпоху пуританской революции. Позднее революционные призывы стали сочетаться с другими вещами. После французской революции такое соединение совсем вышло из моды. В XIX веке „Hessische Landbote“ было вероятно единственной прокламацией, где было такое изобилие библейских текстов. Недаром Бюхнер был так возмущен.

Но отсебятины пастора Вейдига были у него не единственным поводом для огорчений. Его друзья и единомышленники отнеслись к прокламации чрезвычайно холодно. На суде был оглашен следующий интересный разговор. Один из вождей радикальной демократии Карл Цейнер показывал: „Я высказал Вейдигу, что прокламация написана слишком резко и воистину отвратительна. Вейдиг ответил, что и он говорил уже об этом, что оригинал воззвания был еще ужаснее, но что он несколько смягчил его“. Целый ряд буржуазных революционеров, по-своему очень последовательные и смелые люди, неоднократно судившиеся и раньше и после, сидевшие в тюрьмах и крепостях, отнесся к прокламации отрицательно. В их числе был проф. Вильгельм Иордан, позднее член *левой* Франкфуртского Национального Собрания.

Очень не трудно найти объяснение этого факта. Да его и не нужно находить. Его отметил в своем отчете гессенский гофгерихтсрат. Несмотря на то, что Вейдиг тщательно старался замазать основную мысль прокламации, перекрашивая „богатых“ в „знатных“, — эта мысль была так ярка, что она невольно бросалась в глаза всем. Один из обвиняемых говорил, что Бюхнер поражал всех новизною своих идей. А новизна заключалась в том, что революция Бюхнера не была похожа на революцию его друзей. Те говорили о чисто политической революции и боялись социальной, потому что она „несет с собою охлократию“. А у Бюхнера политическая революция без социальной была чем-то недоделанным и бессмысленным. Бюхнер совершенно отчетливо представлял себе, что революция есть восстание бедных против богатых. Он сознательно сеял классовую ненависть и видел в ней революционный рычаг. Он до Коммунистического Манифеста нашел теорию борьбы классов, хотя она была у него половинчатая, недоговоренная. Ему не хватало материала в общественной структуре Германии того времени, чтобы додумать ее до конца. Если бы в поле его политических наблюдений были и рабочие, его формула классовых противоположностей: богатые и бедные — легко могла бы разложиться на более отчетливые. Но мысль о социальной революции была налицо. Именно она и отпугивала буржуазных демократов. Они совсем не хотели социальной революции. В это время, за четырнадцать лет до революции 1848 года, они боялись даже равного избирательного права и стояли — Вейдиг-

первый — за ценз. А Бюхнер издевался над цензовым избирательным правом. Тем не менее, расхождение с политическими друзьями глубоко огорчало его.

Но еще больше огорчало его отношение к его прокламации крестьян. Им ее подбрасывали очень щедро, но результат был странный. Большинство найденные экземпляры отнесло в полицию. Беккер говорил на допросе, что для Бюхнера его прокламация была пробным камнем. Он хотел узнать, может ли революция рассчитывать на крестьян. То, что он узнал, жестоко разочаровало его. Больше: он испытывал жгучее страдание, потому что это подрывало всю его веру в революцию. А революцию он считал единственным средством завоевания свободы и демократического строя. В конституционную эволюцию он совсем не верил. И вдруг оказывалось, что тот класс, на который он только и рассчитывал, в лучшем случае не созрел для революционной борьбы, а может быть и совсем не способен на нее.

Но почему? Ведь был же он способен на нее во Франции в великую революцию и сейчас же вслед за нею в Германии. Поднял же он движение 1830 года в самом Гессене.

В одном из писем к Карлу Гуцкову (июль, 1835) Бюхнер пишет: „Вся революция должна быть взята в свои руки необразованными и бедными классами. Отношение бедных к богатым — единственный революционный элемент в мире. Только голод может призвать богиню свободы, и только Моисей, обрушив на наши головы семь казней египетских, мог бы стать избавителем. Накормите крестьянина, и революция получит апоплексический удар. Курица в горшке каждого крестьянина свернет шею галльскому петуху“.

Тут слышатся уже новые ноты, чувствуется более зрелая мысль. Почему крестьянин, сытый, должен покинуть революцию? Бюхнер не объясняет этого, но ход его мыслей разгадать нетрудно. Что значит накормить крестьянина? Очевидно, дать ему столько земли, чтобы он мог собирать с нее достаточно для прокормления себя и своего семейства. И, кроме того, устроить так, чтобы ни помещик, ни государство не мешали ему работать и оставляли ему из плодов его труда столько, чтобы он и его семья могли вести жизнь, достойную человека. Бюхнер надеется, по крайней мере, что, пока крестьянин всего этого не получит, он будет поддерживать революцию. Почему же он должен покинуть ее, когда все это у него будет? Разве французские крестьяне покинули революцию, получив Конвент, землю и гражданскую свободу и увеличив вдобавок участки за счет национальных имуществ? Нет, потому что революции угрожала Европа, и крестьяне защищали революцию, ибо контр-революция означала конфискацию земли. Но они отдали скипетр Бонапарту, который обещал защищать их приобретения, а это был совсем не плохой апоплексический удар для революции.

Все эти мысли должны были мелькать в голове Бюхнера, хорошо знавшего историю французской революции. И они все сводились к одному: к представлению о том, что крестьянин — собственник по самой своей классовой природе.

Этот вывод был похуже, чем весть о том, что гессенские крестьяне тащат в полицию его „Hessische Landbote“. Она была способна отравить всякий революционный пафос. Ибо для Бюхнера между 1834 и 1837 годами все замыкалось в проклятый круг. Крестьяне — единственный революционный элемент в стране. Крестьяне, как обнаружил опыт 1834 г., для революции не созрели. Крестьяне, как, повидимому, доказывали соображения 1835 года, и вообще плохие революционеры. Какой же тогда выход? Никакого. Нет выхода!

В этом — драма Бюхнера. Но это его, личная Бюхнера, драма, а не драма революции. Временная, не постоянная, она была присуща началу и, пожалуй, середине тридцатых годов. В сороковых годах она исчезла. Как только нашлись люди, достаточно чуткие, чтобы услышать тяжелый, мерный шаг рабочих фаланг, вступающих на арену социальной борьбы, — выход стал отыскиваться. Дело революции было совсем не так безнадежно, как казалось Бюхнеру, да и роль крестьянства в стратегии и тактике революции оказалась иной.

Но Бюхнер умер, задохнувшись в своих безнадежных выводах и предвидениях. Печать трагизма осталась лежать на его прекрасном челе и тогда, когда его глаза закрылись навсегда.

В „Смерти Дантона“ мы можем найти много отголосков этих его настроений. Пьеса написана в те дни, когда „Hessische Landbote“ передавался Вейдигу, печатался, распространялся, с разных сторон — от самих крестьян и от полиции — попадал в суд, становился предметом разбирательства; когда попадали в руки суда один за другим друзья и соратники Бюхнера; когда его самого таскали к следователю, когда он каждую минуту мог быть арестован и засесть очень основательно, — словом в дни величайшей тревоги и внешней, от полицейской опасности, и внутренней, от разочарований всякого рода. В конце концов Бюхнер бежал во Францию, а оттуда попал в Цюрих доцентом. Но эта полоса тяжелых внутренних переживаний осталась запечатленной в „Дантоне“.

Пьеса явно носит на себе следы торопливости и недоделанности. Бюхнеру нужно было поскорее кончить ее и послать Гуцкову, чтобы получить гонорар: у него не было денег для бегства. Гуцков потом очень хвалил ее в печати, и она действительно заслуживает похвал: в ней есть замечательные места ¹⁾. Удивительно верно изображена

¹⁾ В Москве ставили ее уже после октябрьской революции с переделками А. Н. Толстого. Она, несомненно, стала сценичнее, но из нее исчезло все то, что характерно для Бюхнера.

революционная толпа, прекрасно изваяны Дантон, Эро-де-Сешелль, Камилл Демулен, Робеспьер. Правда, в изображении Жюли и Люсиль много немецкой сентиментальности, но это — частность. Суровая эпопея террора полна жизни. Фигуры из толпы пластичны и ярки.

Бюхнер возвращает французской революции то, чему отчасти он у нее научился. Он очень ярко подчеркивает социальный характер революции. Прочтите сцену на улице в первом акте и прислушайтесь к разговорам толпы по поводу поведения дочери Симона: У вас урчит в животах, а они страдают от несварения желудка; у вас дырявые куртки, а у них теплые платья; у вас на руках мозоли, а у них бархатные руки. Ergo — вы работаете, а они ничего не делают, ergo — вы наживали, а они украли, ergo — если вы из украденной у вас собственности хотите вернуть одну-другую монетку, вы должны распутничать и нищенствовать: ergo — они мошенники, и их нужно убить. И в ответ раздается многоголосое: Смерть тому, у кого нет дыр на платье... Смерть... Смерть! — У него носовой платок! Аристократ! На фонарь!

Бюхнер не только убежден, что в революции материальный момент преобладает, как во всех вообще общественных отношениях. Он делает из этого еще один любопытный вывод. В 1836 году он писал Гуцкову: „По правде говоря, мне кажется, что вы и ваши друзья избрали не особенно разумный путь, желая реформировать общество посредством идеи, усилиями интеллигенции. Невозможно! Наше время — материалистическое время. Чем прямее пойдете вы к цели, тем скорее достигнете грани, где реформа оборвется. Вы никогда не перешагнете пропасти, отделяющей образованное общество от не-образованного“.

За два года до того, как он вылил этот холодный душ на голову „Молодой Германии“, тешившей себя романтическими иллюзиями, эта мысль приходила ему в голову, когда он писал „Дантона“. Дантон и его друзья — настоящие представители интеллигенции. На их стороне, несмотря на их недостатки, все симпатии Бюхнера. Они гибнут потому, что им претит связать себя с народом, т. е. сделать то, на что Бюхнер вообще не считал интеллигенцию способной. В только что упомянутом письме он пишет Гуцкову: „Я убедился, что образованное и зажиточное меньшинство никогда не захочет устранить обостренных отношений к громадному классу необразованных и бедных“. Робеспьеру, Сен-Жюсту и их сторонникам нужно идти на всяческие жертвы, чтобы держаться народной линии. Они должны подлаживаться к народу, хитрить со всеми, обманывать Конвент — так изображает дело Бюхнер. В пьесе они торжествуют. Но ведь все же знают, что термидорская гильотина сразила их тоже. Они торжествовали *пока*. Пропасть между ними и народом тоже была непроходима. А в истерических, бессвязных столах Дантона перед арестом,

„в степи“ — есть такая сцена в пьесе — слышится как будто отзвук собственного разочарования Бюхнера, его собственного сознания оторванности от народа и ненужности той жертвы, которую он готов был принести: ведь он ждал ареста, когда писал „Дантона“.

Если бы Бюхнер работал над „Дантоном“ в спокойном состоянии, пьеса вероятно была бы значительно лучше. Но и в недоделанном виде она производит сильное впечатление.

Другие художественные произведения Бюхнера еще менее закончены, чем „Смерть Дантона“. Более других выявлена основная мысль в „Войчке“, где изображается, как нищета, невежество и вся вообще ужасающая обстановка деревни действуют на человека и к чему его приводят. Философские произведения Бюхнера забыты, хотя для своего времени они представляют чрезвычайно ценный вклад в науку. Просто слишком много в этой области сделано с тех пор.

Такова фигура. Гениальный юноша, понявший, что без широких масс нет успешной революции, один из первых попробовавший положить в основу социально-политической тактики мысль, что господствующие интересы народных масс — интересы материальные, пришедший к пониманию положения, что поднять народ по-настоящему можно только мотивами социальными, а не политическими. Эти мысли пришлось потом перерабатывать, но метод набросан был правильно. Основные принципы были верные.

Никто, к сожалению, не сумеет сказать, что бы было, если бы Бюхнер прожил не 23 года с месяцами, а на тридцать-сорок лет больше.

Но и те немногие годы, которые длилась эта замечательная жизнь, дали Германии и человечеству так много ¹⁾.

А. Джигелегов

¹⁾ По-русски „Воззвание к гессенским крестьянам“ имеется в переводе Теплова, вышедшем в 1905 г. Выдержки приводятся по этому переводу.

СМЕРТЬ ДАНТОНА

ДРАМА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

DANTONS TOD

1835

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

✓ ЖОРЖ ДАНТОН	}	Депутаты Конвента.
ЛЕЖАНДР		
✓ КАМИЛЛ ДЕМУЛЕН		
ЭРО-де-СЕШЕЛЛЬ		
ЛАКРУА		
ФИЛИППО		
ФАБР д'ЭГЛАНТИН	}	Члены Комитета Общественного Спасения.
МЕРСЬЕ		
ТОМА ПЭН		
✓ РОБЕСПЬЕР		
✓ СЕН-ЖЮСТ		
БАРРЕР		
КОЛЛО д'ЭРБУА	}	Генеральный прокурор Парижской Коммуны.
БИЛЬО-ВАРЕНН		
ШОМЕТТ	}	Генерал.
ДИЛЛОН		
ФУКЬЕ-ТЕНВИЛЬ	}	Обвинитель.
ЭРМАНН		
ДЮМА	}	Президенты Революционного Трибунала.
ПАРИ		
СИМОН	}	Друг Дантона.
ЛАФЛОТТ		
✓ ЖЮЛИ	}	Жена Дантона.
✓ ЛЮСИЛЬ		
✓ РОЗАЛИ	}	Жена Камилла Демулена.
АДЕЛАИДА		
МАРИОН	}	Гризетки.

Мужчины и женщины из народа, гризетки, депутаты, палачи и т. д.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Эро-де-Сешелль, несколько дам (за карточным столом). Дантон, Жюли, его жена (в некотором отдалении. Дантон на скамеечке у ног Жюли).

Дантон. Посмотри на красивую даму, как она ловко орудует картами! Да, действительно, это она умеет; говорят, она вечно подсовывает своему мужу черви, а другим людям — бубны. У нее неуклюжие ноги, и она легко падает; поэтому у ее мужа шишки на лбу, он считает их оспинами и смеется. Вы еще можете заставить человека влюбиться в ложь.

Жюли. Ты веришь в меня?

Дантон. Почему я знаю! Мы мало знаем себя. Мы толстокожие, мы тянемся один к другому, но наши усилия тщетны, мы только стираем грубую кожу друг с друга, — мы очень одиноки.

Жюли. Ты знаешь меня, Дантон.

Дантон. Да, в обычном смысле слова. У тебя темные глаза, вьющиеся волосы, нежный цвет лица, и ты всегда говоришь мне: „Милый Жорж“. Но (указывает на лоб и глаза) вот там, там, что находится за этим? Оставь, наши чувства грубы. Знать друг друга? Мы должны были бы взломать черепа и вынуть мысли из мозговых волокон.

Одна из дам (Эро). Что это вы намереваетесь сделать из ваших пальцев?

Эро. Ничего.

Дама. Не сгибайте так большого пальца, невозможно смотреть на это.

Эро. Нет, вы посмотрите, у него совершенно особенная физиономия.

Дантон. Нет, Жюли, я люблю тебя, как могилу.

Жюли (отстраняясь). О!

Дантон. Нет! Слушай! Люди говорят, в могиле покой, могила и покой одно и то же. Если это так, то я в твоих объятиях уже лежу под землей. О, ты, сладостная могила, твои уста—погребальные колокола, твой голос—мой похоронный звон, твоя грудь—мой могильный холм и сердце твоё—мой гроб.

Дама. Проигрыш!

Эро. Это было любовное приключение, и оно, как всякое другое, стоит денег.

Дама. В таком случае вы, словно глухонемой, выразили свое признание в любви пальцами.

Эро. А почему бы и нет? Уверяют, что оно именно так легче всего и понимается. Я затеял за картами любовную интрижку с дамой, мои пальцы были превращенные в пауков, принцы. Вы, сударыня, были феей; но дело шло плохо, дама непрерывно мучилась родами, каждое мгновение у нее рождался валет. Я бы не позволил моей дочери играть в эту игру, короли и дамы так неприлично падают друг на друга и сейчас же вслед за этим являются валеты.

(Входят Камилл Демулен и Филиппо).

Эро. Что за мрачный взгляд, Филиппо! Не продырявил ли ты свою красную шапку? Или нахмурился святой Иаков? Может быть, шел дождь во время гильотинирования? Или тебе досталось плохое место при этом, и ты не мог ничего увидеть?

Камилл. Ты пародируешь Сократа. Знаешь ли ты, что спросил божественный Алкивиада, когда однажды увидел его мрачным и подавленным? „Не потерял ли ты щита на поле битвы, не был ли ты побежден на состязаниях в беге или в бою на мечах? Может быть, кто-нибудь лучше тебя пел или играл на цитре?“ Какие классические республиканцы! Сравни-ка с этим нашу романтику гильотины!

Филиппо. Сегодня опять пало двадцать жертв. Мы заблуждались; гебертистов послали на эшафот только потому, что они действовали недостаточно систематично, а может быть и потому, что децемвиры считали бы себя погибшими, если бы хоть на неделю нашлись люди, которых боялись бы больше, чем их.

Эро. Им хотелось бы сделать нас допотопными людьми. Сен-Жюст не без удовольствия увидел бы нас снова ползающими на четвереньках, для того, чтоб арраский адвокат избрал для нас, по способу женеvского часовщика, стеганные шапочки, школьные скамьи и господа бога.

Филиппо. Ради этого они не побоялись бы прибавить еще несколько нулей к счету Марата. Долго ли мы еще будем грязными и окровавленными, словно новорожденные дети, долго ли мы будем иметь гробы вместо колыбелей и играть головами? Мы должны идти вперед. Комитет Милосердия должен быть осуществлен. Изгнанные депутаты должны быть приняты вновь.

Эро. Революция вошла в стадию реорганизации. Революция должна кончиться, и должна начаться республика. В наших основных законах право должно стать на место обязанности, благополучие на место добродетели и необходимая самозащита на место кары. Каждый должен проявить себя и свою природу. Все равно—благоразумен он или неблагоразумен, образован или необразован, добр или зол—это не касается государства. Мы все дураки, и никто не имеет права навязывать другому свою глупость. Каждый должен иметь возможность наслаждаться на свой лад, но все же так, чтобы никто не смел наслаждаться на счет другого или мешать ему в его собственном наслаждении. Индивидуальность большинства должна выражаться в физиономии государства.

Камилл. Форма правления должна быть прозрачной одеждой, плотно прилегающей к телу народа. Каждое вздутие жил, каждое напряжение мускулов, каждое биение вен должно просвечивать сквозь нее. Каково бы ни было тело, прекрасно или безобразно, оно имеет право быть таким, какое оно есть, и мы не смеем урезывать ему сюртучок по своему произволу. Мы будем бить по рукам людей, которые намереваются накинуть на плечи возлюбленной грешницы Франции монашеский клобук. Мы хотим нагих богов, вакханок, олимпийских игр, роз в кудрях, кипучего вина, волнуемых грудей и певучих губ; о, злая любовь, освобождающая тело! Мы не возбраняем римлянам сидеть в углу и варить репу, но мы не допустим больше гладиаторских игр. Божественный Эпикур и Венера с прекрасной задницей должны стать привратниками республики вместо святых Марата и Шалье. Дантон! Ты поведешь наступление в Конвенте!

Дантон. Я поведу, ты поведешь, он поведет! Если мы только доживем до тех пор, говорят старухи. Через час пройдет шестьдесят минут. Не правда ли, дружище?

Камилл. При чем тут это? Это само собой.

Дантон. О, все само собой. Только кто же осуществит все эти прекрасные вещи?

Филиппо. Мы и честные люди.

Дантон. Это „и“ в промежутке длинное слово, оно держит нас немножко далековато друг от друга. Расстояние длинно, честность задохнется раньше, чем мы сойдемся. А если бы даже и сошлись! Честным людям можно давать в долг деньги, можно с ними кумиться и выдавать за них дочерей, но и только!

Камилл. Если тебе это известно, зачем же ты начал борьбу?

Дантон. Мне были противны люди. Я никогда не мог видеть подобных напыщенных катонов без того, чтоб не дать им пинка. Такова уж моя натура. (Поднимается).

Жюли. Ты уходишь?

Дантон. Я должен идти, не то они еще погубят меня своей политикой. (Уходя). На пороге я хочу вам изречь пророчество: Статуя свободы еще не отлита, печь пылает, мы все еще можем обжечь себе пальцы при этом. (Уходит).

Камилл. Оставьте его. Вы думаете, он опустит руки, когда дойдет до дела?

Эро. Да, но только для препровождения времени, как играют в шахматы.

УЛИЦА

Суфлер Симон. Его Жена.

Симон (колотит жену). Ах ты, сводня! Ах ты, морщинистый чирый! Ах ты, червивое яблоко грехопадения!

Жена. Помогите! Помогите! (Сбегаются люди).

Голоса. Растащите их, растащите их!

Симон. Нет, оставьте меня, римляне! Я хочу раздробить этот костяк! Ах ты, весталка!

Жена. Я весталка? Это мы еще посмотрим! Я?

Симон. Так я сорву одежду с плеч твоих,
На солнцепек нагую брошу падаль,
В малейшей складке тела твоего
Разврат гнездится. Шлюха!

1-й гражданин. Что случилось?

Симон. Где дева? Говори! Нет, я не могу сказать так. Девушка! Нет, и не так тоже, женщина, жена! И тоже не так, не так! Только одно еще наименование; о, оно задумит меня! У меня не хватит дыхания, чтоб произнести его.

2-й гражданин. Это хорошо, не то наименование пахло бы водкой.

Симон. Закутай свою обнаженную голову, старый Виргиний—Ворон-позор сидит на ней и клюет твои глаза. Дайте мне нож, римляне! (Падает)

Жена. Ах, обычно он славный человек, только он не очень вынослив. Водка сейчас же подставляет ему ножку.

2-й гражданин. Тогда он ходит на трех.

Жена. Нет, тогда он падает.

2-й гражданин. Правильно, сперва он ходит на трех, а потом падает на третью, куда третья сама не упадет.

Симон. Ты—язык вампира, пьющий самую жаркую кровь моего сердца.

Жена. Оставьте его. В такое время он всегда растроган. Обойдется.

1-й гражданин. Что же случилось?

Жена. Видите ли: я сидела там на камне, на солнышке, и грелась;—потому, видите ли, что у нас нет дров, видите ли...

2-й гражданин. Так возьми нос своего мужа.

Жена. А моя дочь пошла туда на угол,—она славная девушка и кормит своих родителей.

Симон. Ага, она признается!

Жена. Ах ты, Иуда, да разве у тебя были бы штаны, чтобы напялить на ноги, если б молодые господа не спустили с себя штанов у нее в гостях? Ах ты, водочный боченок, да ты видно хочешь иссохнуть от жажды, когда перестанет бить родник! Мы работаем всеми членами, так почему же и не этим тоже? Ее мать орудовала им, когда она являлась на свет, и ей было больно; неужто ж она не может ради своей матери тоже им орудовать, а? И разве ей при этом тоже больно, а? Дурак ты!

Симон. Ха, Лукреция! Нож; дайте мне нож, римляне! Ха, Аппий Клавдий.

1-й гражданин. Да, нож, только не для бедной потаскушки! Что она сделала? Ничего! Это голод ее нищенствует и распутничает. Нож для людей, покупающих тело наших жен и дочерей! Горе тем, кто распутничает с дочерьми народа! У вас урчит в животах, а они страдают от несварения желудка; у вас дырявые куртки, а у них теплые платья; у вас на руках мозоли, а у них бархатные руки. Ergo—вы работаете, а они ничего не делают, ergo—вы наживали, а они украли, ergo—если вы из украденной у вас собственности хотите вернуть одну-другую монетку, вы должны распутничать и нищенствовать; ergo—они мошенники, и их нужно убить.

3-й гражданин. У них только и крови в жилах, что они из нас высосали. Они сказали нам: убейте аристократов—это волки! Мы повесили аристократов на фонарях. Они сказали: Veto жрет ваш хлеб. Мы убили Veto. Они сказали: жирондисты морят вас голодом; мы гильотинировали жирондистов. Но они раздели мертвых, а мы как прежде бегаем босиком и мерзнем. Мы сдерем у них кожу с бедер и сошьем из нее себе штаны, мы выпустим у них жир и съоб-
рим им себе суп. Долой! Смерть тому, у кого нет дыр на платье.

1-й гражданин. Смерть тому, кто умеет читать и писать.

2-й гражданин. Смерть тому, кто уходит от нас.

Все (кричат). Смерть! Смерть! (Несколько человек при-
таскивают молодого человека).

Голоса. У него носовой платок! Аристократ! На фо-
нарь! На фонарь!

2-й гражданин. Как? Он сморкается не в пальцы?
На фонарь!

(Спускают вниз фонарь).

Молодой человек. Ах, господа!

2-й гражданин. Здесь нет господ! На фонарь!

(Некоторые поют):

Все, кто спит в глубокой яме,
Будут съедены червями;
Лучше в воздухе висеть,
Чем в земле холодной глеть!

Молодой человек. Сжальтесь!

3-й гражданин. Одно движение пенькового локона на шее! Только один миг! Мы милосерднее вас. Наша жизнь—это казнь работой, мы шестьдесят лет подряд висим на веревке и корчимся, но мы ее обрежем...—На фонарь! Молодой человек. Ну что ж—вешайте! Вам от этого не станет светлее.

Окружающие. Браво! Браво!

Голоса. Пустите его! (Он убегает).

(Робеспьер входит в сопровождении женщин и санкюлотов).

Робеспьер. Что здесь случилось, граждане?

3-й гражданин. Что может случиться? Несколько капель крови в августе и сентябре не подурмянили шек народу. Гильотина слишком медленна. Нам нужен ливень.

1-й гражданин. Наши жены и дети требуют хлеба. Мы накормим их мясом аристократов. Э! Смерть тому, у кого нет дыр на платье.

Все. Смерть! Смерть!

Робеспьер. Во имя закона!

1-й гражданин. Что такое закон?

Робеспьер. Желание народа.

1-й гражданин. Мы народ, и мы желаем, чтоб не было никакого закона; ergo—это желание закон, ergo—во имя закона больше закона нет, ergo—смерть!

Голоса. Слушайте Аристиду, слушайте Неподкупного.

Женщина. Слушайте мессию, ниспосланного выбирать и судить; он поразит злых острием меча. Глаза его, глаза избрания, и руки его, руки суда.

Робеспьер. Бедный, добродетельный народ. Ты совершаешь свой долг, ты приносишь в жертву своих врагов. Народ! ты велик. Ты являешься в свете молнии, при громовых раскатах. Но, народ, твои удары не должны ранить твоего собственного тела; ты убиваешь самого себя в своей ярости. Тебя может победить только твоя собственная сила, это знают твои враги. Твои законодатели бодрствуют, они направят твою руку, их глаза бдительны, твоя рука неотвратима. Пойдем вместе к якобинцам. Ваши братья прижмут вас к груди. Мы будем держать кровавый суд над нашими врагами.

Многие голоса. К якобинцам! Да здравствует Робеспьер!

Симон. Горе мне покинутому. (Пытается встать).

Жена. Ну! (Поддерживая его).

Симон. О, моя Бавкида, ты сыплешь уголья на мою главу.

Жена. Ну, стой же!

Симон. Ты отворачиваешься? Ах, можешь ли ты простить меня, Порция? Я бил тебя. Не мой кулак, не моя рука—мое безумие делало это. Безумие—враг бедного Гамлета. Гамлет не делал этого. Гамлет отрицает это. Где моя дочь, где моя Санна?

Жена. Там, за углом.

Симон. Скорее к ней. Пойдем, моя добродетельная супруга.

(Оба уходят).

КЛУБ ЯКОБИНЦЕВ

Житель Лиона. Братья в Лионе послали нас, чтоб излить у вас на груди нашу жесточайшую скорбь. Мы не знаем, была ли телега, везущая на гильотину Ронсена, погре-

бальной колесницей свободы, но мы знаем, что с этого дня убийцы Шалье снова так уверенно ходят по земле, как будто для них не существует могилы.

Разве вы позабыли, что Лион, это—пятно на французской земле, которое нужно прикрыть костями предателей? Разве вы забыли, что эта королевская блудница может смыть свою проказу только в водах Роны? Разве вы забыли, что эта революционная река должна посадить флот Питта в Средиземном море на трупы аристократов, как на мель? Ваше милосердие убивает революцию. Вздох аристократа есть предсмертное хрипение свободы. Только трус умирает ради республики, якобинец убивает ради нее. Знайте: если мы не найдем в вас упругости мужей, действовавших 10-го августа, в сентябре и 31-го мая, нам, как патриоту Гайару, останется лишь кинжал Катона.

(Одобрение и смутные крики).

Якобинец. Мы выпьем кубок Сократа вместе с вами. Лежандр (влетает на трибуну). Нам не нужно обращать свои взоры к Лиону. У людей, носящих шелковые одежды, разъезжающих в каретах, восседающих в театральных ложах и говорящих по академическому словарю, с недавнего времени головы сидят на плечах крепко. Они шутят и говорят, что Марата и Шалье следует подвергнуть вторичному мученичеству и гильотинировать их изображения.

(Сильное движение в собрании).

Несколько голосов. Это мертвые люди, их язык гильотинирует их.

Лежандр. Да падет на них кровь этих святых! Я спрашиваю присутствующих членов Комитета Общественного Спасения, с каких пор их уши стали так глухи?

Колло д'Эрбуа (прерывает его). А я спрашиваю тебя, Лежандр, чей голос вдохновляет подобные мысли, так что они оживают, высказываются во всеуслышание? Пора сорвать маски. Слушайте! Повод обвиняет свой результат, голос свое эхо, причина свое следствие. Комитет Общественного Спасения больше смыслит в логике, Лежандр. Успокойся! Бюсты святых останутся нетронутыми, они, как головы медуз, обратят предателей в камень.

Робеспьер. Я прошу слова.

Якобинцы. Слушайте, слушайте Неподкупного.

Робеспьер. Мы ожидали только вопля негодования, раздавшегося со всех сторон, чтобы заговорить. Наши глаза были открыты, мы видели, как враг вооружается и встает,

но мы не били тревоги; мы предоставили народу самому охранять себя, он не спал, он взялся за оружие. Мы позволили врагу выйти из засады, мы позволили ему приблизиться, теперь он стоит, нагой, беззащитный в свете дня, каждый удар поразит его, он мертв с того мига, как вы заметили его. Я уже однажды говорил вам: внутренние враги республики распались на две части, как на два отряда. Под знаменами различных цветов и по различным дорогам они спешат к одной и той же цели. Одной из этих партий уже не существует. В своем явном безумии она стремилась устранить истиннейших патриотов, как уже ни к чему непригодную ветвь, чтобы лишить республику их мощных рук. Она объявила войну божеству и собственности, чтобы сделать переворот в пользу королей. Она пародировала высокую драму революции, чтобы умышленно подвергнуть ее позору. Триумф Гебера превратил бы республику в хаос, и деспотизм ликовал. Меч закона поразил изменника. Но какое дело до этого иностранцам, если у них для достижения той же цели остаются предатели иного рода? Нами ничего не сделано, если нам предстоит еще уничтожить другую партию. Она является противоположностью предыдущей. Она побуждает нас к слабости, ее боевой клич: жалость! Она хочет отнять у народа его оружие и силу, которая предводительствует оружием, чтобы голыми и бессильными стать его с рук на руки королям. Оружие республики—страх, сила республики—добродетель, добродетель, потому что без нее страх пагубен,—страх, потому что без него добродетель бессильна. Страх есть следствие добродетели, он не что иное, как быстрое, строгое и неуклонное правосудие. Они говорят: страх—оружие деспотического правления, следовательно, наше правление подобно деспотизму. Правда, но только так, как меч в руках героя свободы подобен сабле, которой вооружен телохранитель тирана. Пусть деспот управляет своими звероподобными подданными посредством страха, он имеет на это право, как деспот. Давите страхом врагов свободы—вы, как опекуны республики, имеете на это не меньшее право. Революционное правительство, это—деспотизм свободы против тирании. Жалость к роялистам!—кричат известные люди,—жалость к злодеям? Нет! Жалость к невинности, жалость к слабости, жалость к несчастным, жалость к человечеству! Только мирного гражданина надлежит защищать обществу! В республике только республиканцы являются гражданами; роялисты и чужестранцы—враги. Наказывать поработителей

человечества — милость, простить их — варварство. Все проявления ложной чувствительности мне кажутся вздохами, направленными в сторону Австрии или Англии. Но, не довольствуясь разоружением руки народа, они еще стремятся отравить священнейшие источники его силы развратом. Это самое хитрое, опасное и отвратительное нападение на свободу. Только один адский маккиавелизм, но — нет! я не хочу говорить, что подобный план мог быть выношен в человеческом мозгу. Это могло случиться невольно, но намерение не меняет дела, следствие остается тем же, опасность так же велика! Разврат является каиновой печатью аристократизма. В республике он не только моральное, но и политическое преступление; развратник — политический враг свободы, он тем опаснее для нее, чем крупнее мнимые услуги, которые он оказал ей. Самым опасным гражданином является тот, кто легче сносит дюжину красных шапок, чем совершит доброе дело. Вы легко поймете меня, если подумаете о людях, которые некогда жили на чердаках, а теперь разъезжают в каретах и развратничают с бывшими маркизами и баронессами. Мы имеем право задать вопрос, не грабили ли они народ, не пожимали ли золотых рук королей, когда видим этих народных законодателей, щеголяющих развратом и роскошью былых придворных, когда мы видим этих маркизов и графов революции, женящихся на богатых, дающих роскошные обеды, играющих в карты, держащих прислугу и носящих дорогие одежды? Мы имеем право изумиться, когда слышим, что они обладают причудами, остроумием и чем-то в роде хорошего тона. Недавно бесстыдным образом пародировали Тацита, я мог бы ответить Саллюстием и нарядиться Катилиной; но я думаю, мне больше не нужно ни одного штриха, портреты готовы. — Никаких сношений, никаких перемирий с людьми, которые помышляли только об ограблении народа, которые надеялись безнаказанно осуществить это ограбление, для которых республика была спекуляцией, а революция — ремеслом! Устрашенные стремительным потоком примеров, они пытаются исподтишка остудить правосудие. Кажется, каждый говорил про себя: „Мы недостаточно добродетельны, чтобы быть столь жестокими. Философы законодатели, сжальтесь над нашей слабостью; я не осмеливаюсь вам сказать, что я порочен, поэтому я лучше скажу вам: не будьте жестоки“. Успокойся, добродетельный народ, успокойтесь и вы, патриоты, скажите вашим братьям в Лионе: меч закона не заржавеет в руках, которым вы его доверили. Мы дадим республике великий пример. (Общее одобрение).

Многие голоса. Да здравствует республика! Да здравствует Робеспьер!
Президент. Заседание закрыто.

УЛИЦА

Лакруа, Лежандр.

Лакруа. Что ты сделал, Лежандр? Знаешь ли ты, кому ты снес голову своими бюстами?

Лежандр. Нескольким франтам и щеголихам.

Лакруа. Ты — самоубийца, тень, которая убивает свой оригинал и таким образом самого себя.

Лежандр. Я не понимаю.

Лакруа. Я думал: Колло говорил ясно.

Лежандр. Так что же? Казалось, будто взорвалась бутылка шампанского. Он опять был пьян.

Лакруа. Дураки, дети и — кто же? — пьяные говорят истину. Кого же, ты думаешь, подразумевал Робеспьер под Катилиной?

Лежандр. Ну?

Лакруа. Дело простое. Атеистов и ультра-революционеров отправили на эшафот; но народу это не помогло, он все еще бегаёт босиком по улицам и хочет сшить себе сапоги из кожи аристократов. Термометр гильотины не должен опускаться; еще несколько градусов, и Комитет Общественного Спасения может искать себе постель на Площади Революции.

Лежандр. При чем тут мои бюсты?

Лакруа. Неужели ты все еще не видишь? Ты официально заявил о контр-революции, ты побуждал к деятельности децемвиров, ты направлял их руку. Народ — это Минотавр, который должен еженедельно получать свои трупы, иначе он пожрет их самих.

Лежандр. Где Дантон?

Лакруа. Почему я знаю! Он сейчас у всех гризеток Пале-Рояля по кусочкам собирает воедино Венеру Медицейскую; он занимается мозаикой, как он говорит; одному небу известно, до какой части тела он сейчас дошел. Жалко, что природа раздробила на части красоту, как Медею — своего брата, и по кусочкам рассовала ее по различным людям. — Пойдем-ка в Пале-Рояль!

(Уходят).

КОМНАТА

Дантон, Марион.

Марион. Нет, оставь меня! Вот так, у твоих ног. Я хочу рассказать тебе!

Дантон. Ты могла бы лучше употребить свои губы.

Марион. Нет, оставь меня так. Я из хорошей семьи. Моя мать была умная женщина, она дала мне тщательное воспитание, она всегда говорила мне: целомудрие прекрасная добродетель. Когда в дом приходили люди и заговаривали о некоторых вещах, она высылала меня из комнаты; если и спрашивала, что подразумевали люди, она говорила, что я должна стыдиться; если она давала мне читать книгу, я почти всегда должна была пропустить несколько страниц. Но библию я читала сколько душе угодно, там было все свято; однако, там было нечто, чего я не понимала. Но я не хотела никого спрашивать, я размышляла сама. Тогда настала весна, повсюду вокруг меня происходило нечто, в чем я не принимала участия. Я попала в странную атмосферу, я почти задыхалась в ней. Я разглядывала свое тело, иной раз мне казалось, будто все у меня двойное и вдруг снова сливается в одно. К этому времени в дом явился один молодой человек; он говорил вздор, я не вполне знала, чего он хотел, но не могла не смеяться. Мать часто приглашала его, это было нам обоим на руку. Наконец мы перестали понимать, почему мы не можем лежать рядом между двумя одеялами так же хорошо, как сидеть рядом на двух стульях. Я находила в этом больше удовольствия, чем в его разговоре, и не понимала, почему мне предоставляют меньшее и запрещают большее. Мы это делали втайне, и это продолжалось день за днем. Но я становилась подобной морю, которое все поглощает и волнуется все глубже и глубже. Я видела во всем этом какую-то противоположность себе, для меня все мужчины сливались в одну плоть. Такова была моя натура, кто может бороться с ней? Наконец он заметил это. Он пришел однажды утром и целовал меня, словно хотел задушить; его руки оплелись вокруг моего горла, я была в невыразимом ужасе. Тогда он отпустил меня, засмеялся и сказал: он чуть было не сделал глупости, мне следует сохранить свое платье и носить его; оно изнашивается само собой; он не желает мне портить раньше времени удовольствия, ведь это единственное, что я имею. Потом он ушел, я опять не понимала, чего ему было нужно. Вечером я сидела у окна, я очень впечатлительна и сливаюсь

со всем, благодаря малейшему ощущению; я погрузилась в волны заката. Внезапно на улице появилась толпа, дети бежали впереди, женщины выглядывали из окон. Я взглянула вниз; они несли его мимо, в корзине, луна озаряла его бледный лоб, его кудри были влажны; он утопился. Я принуждена была заплакать. Это был единственный перелом в моей жизни. У других людей есть праздники и будни, они шесть дней работают и молятся в седьмой, они ежегодно умиляются в день своего рождения и размышляют под новый год. Я в этом ничего не понимаю. Я не знаю никаких перерывов, никаких перемен; я всегда лишь Одно, непрерывная страсть и впитывание, пламя, поток. Моя мать умерла с горя, люди указывают на меня пальцами, это глупо. Совершенно все равно, что именно доставляет тебе удовольствие—тело, распятие, винные стаканы, цветы, детские игрушки; это одно и то же чувство; кто больше наслаждается, тот больше и молится.

Дантон. Почему я не могу впитать в себя твою красоту совершенно, не могу охватить ее?

Марион. Дантон, у твоих уст есть глаза.

Дантон. Я бы желал быть частью эфира, чтоб омыть тебя в моем потоке, чтобы преломляться на каждой волне твоего прекрасного тела.

(Лакруа, Аделаида, Розали входят).

Лакруа (останавливается в дверях). Мне смешно, мне смешно.

Дантон (недовольно). Ну?

Лакруа. Мне вспомнился переулочек.

Дантон. Ну?

Лакруа. В переулочке были собаки, дог и маленькая комнатная болонка, они мучались.

Дантон. Что это значит?

Лакруа. Я просто припомнил это, и мне стало смешно. Это было очень назидательно! Девицы глядели из окон; следовало бы быть осторожнее и не позволять им сидеть на солнце. Не то мухи занимают этим у них на ладонях. Это наводит на размышление. Мы с Лежандром обежали почти все кельи, монашески Плотского Откровения хватали нас за полы и просили благодати. Лежандр дает наставление одной из них, только ему за это придется целый месяц поститься. Вот я привел двух священнослужителей во плоти.

Марион. Добрый день, мадемуазель Аделаида, добрый день, мадемуазель Роза.

Розали. Мы уже давно не имели удовольствия...

Марион. Мне было очень жаль.

Аделаида. Ах, господи, мы день и ночь заняты.

Дантон (Розали). Э, крошка! да у тебя стали гибкие бедра!

Розали. О да,—совершенствуешься с каждым днем.

Лакруа. Какая разница между античным и современным Адонисом?

Дантон. А Аделаида приобрела скромную интересность; пикантная перемена. Ее лицо похоже на фиговый листок, которым она прикрывает все тело. Подобное фиговое дерево на столь людной улице дает освежающую тень.

Аделаида. Я была бы самой добродетелью, если б сударь...

Дантон. Я понимаю, только не злись, моя девочка!

Лакруа. Выслушай же; современного Адониса терзают не вепрь, а свиньи; его ранят не в бедро, а в пах, и из его крови вырастают не розы, а ртутные бутоны.

Дантон. Ах, брось это; мадемуазель [Розали реставрированная статуя, у которой античны только бедра и ноги. Она магнитная игла, то отталкивается полюсом головы, то притягивается полюсом ног; середина является экватором, где каждый, кто переходит эту линию впервые, нуждается в крещении сулемой.

Лакруа. Две сестры милосердия; каждая служит в госпитале, т.-е. в своем собственном теле.

Розали. Стыдитесь, вы заставляете краснеть наши уши.

Аделаида. Вам бы следовало быть более учтивым.

(Аделаида и Розали уходят).

Дантон. Спокойной ночи, прелестные детки.

Лакруа. Спокойной ночи, ртутные рудники.

Дантон. Мне их жаль, они пришли за своим ужином.

Лакруа. Слушай, Дантон, я только что от якобинцев.

Дантон. И больше ничего?

Лакруа. Лионцы читали воззвание. Они думают, им ничего не остается более, как завернуться в тогу. Каждый делал такую мину, будто хотел сказать своему соседу: „Петус, это не больно!“—Лежандр кричал: „Хотят разбить бюсты Шалье и Марата“. Я думаю, он хочет снова подругмывать себе лицо; он совершенно ушел от террора, дети хватают его на улице за одежду.

Дантон. А Робеспьер?

Лакруа. Потрогал пальцами трибуну и сказал: „Добродетель должна управлять посредством страха“. У меня от этой фразы шея заболела.

Дантон. Она стругает доски для гильотины.

Лакруа. А Колло, как бешеный, кричал, что нужно сорвать маски.

Дантон. С ними вместе будут сорваны и лица.

(Пари входит).

Лакруа. Что нового, Фабриций?

Пари. От якобинцев я пошел к Робеспьеру. Он пытался корчить Брута, приносящего в жертву своих сыновей. Он говорил о долге вообще, сказал, что ради свободы он не знает никаких снисхождений, он всем пожертвовал бы, собою, своим братом, своими друзьями.

Дантон. Это было определено. Стоит лишь перевернуть скалу, как окажется, что он стоит внизу и поддерживает лестницу для своих друзей. Мы должны быть благодарны Лежандру, он заставил его говорить.

Лакруа. Гебертисты еще не умерщвлены, народ в материальной нищете, это грозный рычаг. Чаша крови не должна более наполняться, чтобы не стать фонарем для Комитета Общественного Спасения; ему необходим балласт, ему нужна тяжелая голова.

Дантон. Я же знаю, революция подобна Сатурну, она пожирает своих собственных детей. (После некоторого раздумья). Но все ж они не отважатся на это.

Лакруа. Дантон, ты—мертвый святой; но революция не знает мошей, она вышвырнула на улицу все королевские останки и сбросила все статуи с храмов. Ты думаешь, что тебя оставят стоять в виде памятника?

Дантон. Мое имя!.. Народ!..

Лакруа. Твое имя! Ты умеренный и я тоже, и Камилл, и Филиппо, и Эро. Для народа слабость и умеренность одно и то же; он убивает отсталых. Портные из секции Красного Колпака ощутят в своих иглоках всю римскую историю, если человек Сентября окажется по сравнению с ними умеренным.

Дантон. Совершенно верно, и кроме того, народ—как ребенок, ему нужно все изломать, чтобы узнать, что находится внутри.

Лакруа. И сверх того, Дантон, мы—развратники, как говорит Робеспьер, то есть мы наслаждаемся; а народ добродетелен, т.-е. он не наслаждается, потому что работа при-

тупляет у него органы наслаждения; он не напивается, потому что у него нет денег, и не ходит в публичные дома, потому что у него из глотки воняет сыром и селедкой, а девки тошнит от этого.

Дантон. Он ненавидит наслаждающихся, как евнух — мужчин.

Лакруа. Нас называют мошенниками и (на ухо Дантону), говоря между нами, это наполовину правда. Робеспьер и народ будут добродетельны, Сен-Жюст напишет роман, а Баррер скроит Карманьолу и накинёт на Конвент кровавую мантийку, и я все вижу.

Дантон. Ты бредишь. У них никогда не было смелости без меня, у них не будет ее против меня; революция еще не кончена, я могу им еще понадобиться, они припрячут меня в арсенале.

Лакруа. Мы должны действовать.

Дантон. Способ найдется.

Лакруа. Он найдется, когда мы пропадем.

Марион (Дантону). Твои губы похолодели, твои слова задушили твои поцелуи.

Дантон (Марион). Потерять даром столько времени. Стоило того! (К Лакруа). Завтра я пойду к Робеспьеру, я раздражаю его, тогда он не сможет молчать. Так, значит, завтра! Спокойной ночи, друзья мои, спокойной ночи, благодарю вас.

Лакруа. Укладывайтесь, дорогие друзья, укладывайтесь! Спокойной ночи, Дантон, ляжки барышни гильотинируют тебя, Mons Veneris будет твоей Тарпейской скалой.

КОМНАТА

(Робеспьер, Дантон, Пари).

Робеспьер. Говорю тебе: — кто мне мешает, когда я извлекаю меч, тот мой враг. Его намерение не меняет дела; препятствующий мне защищаться убивает меня так же, как если бы он напал на меня.

Дантон. Где кончается самозащита, начинается убийство; я не вижу причины, которая побуждала бы нас к дальнейшему убийству.

Робеспьер. Социальная революция еще не кончена. Кто кончает революцию на половине, — копает сам себе могилу. Высшее общество еще живо, здоровая сила народа должна стать на место этого во всех отношениях испор-

ченного класса. Порок должен быть наказан, добродетель должна управлять посредством страха.

Дантон. Я не понимаю слова наказание. С твоею добродетелью, Робеспьер! Ты не брал денег, ты не делал долгов, ты никогда не ночевал у женщины, ты всегда носил приличное платье и никогда не напивался. Робеспьер, ты отвратительно праведен. Мне было бы стыдно с подобной моральной физиономией вертеться 30 лет подряд между небом и землей, исключительно ради жалкого удовольствия считать других хуже себя. Неужели же в тебе нет ничего, что говорило бы тебе иной раз, втайне, шопотом: ты лжешь, ты лжешь?

Робеспьер. Моя совесть чиста.

Дантон. Совесть, это зеркало, перед которым кривляется обезьяна. Каждый украшает себя как может и каждый на свой лад этому радуется. Стоит ли из-за этого ссориться? Пусть всякий защищает сам, если ему кто-нибудь мешает развлекаться. Разве потому, что ты сам всегда носишь чисто вычищенное платье, ты имеешь право делать из гильотины корыто для грязного белья других людей, а из отрубленных голов мыльные шарики для их загрязненной одежды? Правда, ты имеешь право защищаться, когда они плюют на твоё платье или рвут его; но что тебе за дело до них, пока они тебя не трогают? Разве ты имеешь право зарывать их в яму за то, что они не стыдятся прогуливаться в неприглядном виде? Разве ты полицейский, приставленный к небу? А если ты не можешь смотреть на это так же спокойно, как твой возлюбленный господь бог, то закрой глаза носовым платком.

Робеспьер. Ты отрицаешь добродетель?

Дантон. И порок. Существуют лишь эпикурейцы, хотя, правда, грубые и тонкие; Христос был одним из тончайших; это единственное различие, которое я могу установить между людьми. Каждый действует соответственно своей природе, т. е. делает то, что ему приятно. Не правда ли, Неподкупный, это жестоко так сбивать тебе каблуки у туфель?

Робеспьер. Дантон! разврат в иную пору является государственной изменой.

Дантон. Ты не смеешь изгнать его, нет, клянусь небом, это было бы неблагодарно, ты слишком многим ему обязан, — по контрасту. Впрочем, чтоб остаться при твоих намерениях, наши проделки должны быть полезны республике, нельзя казнить невинных вместе с виновными.

Робеспьер. Кто ж тебе говорит, что был поражен невинный?

Дантон. Слышишь, Фабриций? Ни один невинный не умер! (Он уходит. Выходя, к Пари). Мы не смеем терять ни минуты, мы должны проявить себя!

(Дантон и Пари уходят).

Робеспьер (один). Ступай себе! Он хочет коней революции задержать перед публичным домом, как извозчик своих дрессированных кляч. У них хватит силы, чтобы дотащить его до Площади Революции.—Сбивать мне каблуки у туфель!—Чтоб остаться при твоих намерениях!—Погоди! Погоди! Разве это так?—Они скажут, что его гигантская фигура бросала на меня слишком много тени, поэтому я принудил его уйти с солнца.—А если б они были правы?—Разве это так необходимо?—Да, да, республика! Он должен быть устранен!—Смешно, как мои мысли следят друг за другом.—Он должен быть устранен. Кто останавливается в стремящейся вперед толпе, оказывает такое же противодействие, как если бы он шел ей навстречу, и будет растоптан. Мы не дадим кораблю революции разбиться на тинистых отмелях и мелких расчетах этих людей, мы должны отрубить руку, которая смеет его задерживать, и даже если бы они вцепились в него зубами! Долой общество, которое сняло с мертвой аристократии ее одежды и унаследовало ее проказу.—Нет добродетели? Добродетель—каблуки моих туфель! Мои намерения! Мои намерения!—Как это настойчиво возвращается.—Почему я не могу освободиться от этой мысли? Она все время указывает кровавым пальцем туда, туда! Я могу сколько угодно обертывать ее тряпкой, кровь все время пробивается наружу. (После паузы). Я не знаю, что во мне обманывает и что обманывается. (Подходит к окну). Ночь храпит над землей и мечется в диких снах. Мысли, желания, почти не подозреваемые, смутные и бесформенные, которые боюсь, что прячутся при дневном свете, принимают теперь образ и одежду и крадутся в тихий дом сновидений. Они отворяют двери, они глядят из окон, они становятся наполовину плотью, тела вытягиваются во сне, губы бормочут. И не есть ли наше бдение более просветленный сон.—разве мы не лунатики, разве наши поступки не такие же, как и во сне, только явственнее, определеннее, выполнимее? Кто обвинит нас в этом? В один час дух творит больше мысленных деяний, чем неповоротливый организм нашего тела может совершить в год. Грех таится в мыслях. Станет ли мысль действием, выполнит ли его тело,—простая случайность.

(Сен-Жюст входит).

Робеспьер. Эй, кто там в потемках? Эй, свету, свету!
Сен-Жюст. Узнаешь ты мой голос?
Робеспьер. Ах, ты, Сен-Жюст.

(Служанка вносит свет).

Сен-Жюст. Ты был один?

Робеспьер. Только что ушел Дантон.

Сен-Жюст. Я встретил его по дороге в Пале-Рояле. Он хмурил свое революционное чело и говорил эпиграммами, брался с санкулотами, гризетки бежали по его следам, и люди останавливались и шептали друг другу на ухо то, что он говорил. Мы теряем преимущества нападения. Долго ли ты будешь колебаться? Мы станем действовать без тебя. Мы решились.

Робеспьер. Что вы хотите делать?

Сен-Жюст. Мы созываем законодательное собрание, Комитет Безопасности и Комитет Общественного Спасения на торжественное заседание.

Робеспьер. Слишком много церемоний.

Сен-Жюст. Мы должны благопристойно похоронить великого покойника, как священники, не как убийцы, мы не смеем раздробить его на части, все его члены должны быть опущены вместе.

Робеспьер. Говори яснее.

Сен-Жюст. Мы должны похоронить его в полном вооружении и убить на могильном кургане его коней и рабов: Лакруа.

Робеспьер. Заведомый мошенник, бывший адвокатский писец, теперешний генерал-лейтенант Франции! Дальше!

Сен-Жюст. Эро-Сешелль.

Робеспьер. Прекрасная голова.

Сен-Жюст. Он был красиво разрисованной заглавной буквой конституционного акта, нам больше не нужно такого украшения, он будет стерт.—Филиппо, Камилл!

Робеспьер. И его тоже?

Сен-Жюст (протягивает ему бумагу). Я так думаю. Вот читай!

Робеспьер. Ага, былой францисканец! Больше ничего? Он ребенок, он смеялся над вами.

Сен-Жюст. Вот здесь, здесь! (Указывает ему место).

Робеспьер (читает). „Этот кровавый мессия Робеспьер, между обоими разбойниками Кутоном и Колло, на своей Голгофе, на которой он приносит в жертву других, а не жертвует собой. Гильотинные ханжи стоят внизу, как Мария

и Магдалина. Сен-Жюст, как Иоанн, лежит у него на груди и возвещает Конвенту апокалипсические откровения учителя; он держит свою голову, как дароносицу.

Сен-Жюст. Я заставлю его держать свою, как святой Дионисий.

Робеспьер (читает далее). „Можно ли думать, что опрятный фрак мессии есть саван Франции и что тонкие пальцы этого мессии, трепещущие на трибуне — лезвие гильотины?—А ты, Баррер, сказавший: „На Площади Революции будут чеканить монету“. Но я не хочу ворошить старого мешка, он — вдова, имевшая полдюжины мужей, которых она помогала хоронить. Кто может тут что-нибудь поделывать? Таков его дар, он видит у людей за полгода до смерти Гиппократово лицо. Кому же охота подсаживаться к трупу и нюхать смрад?—Значит, и ты, Камилл?—Скорее прочь их. Не возвращаются только мертвые. Готово ли у тебя обвинение?

Сен-Жюст. Это легко. Ты сделал указание у якобинцев.

Робеспьер. Я хотел устроить их.

Сен-Жюст. Мне стоит только сделать знак, мошенники вернут яйцо, а иностранцы яблоко. Они умрут во время пира; даю тебе слово.

Робеспьер. Тогда, скорее, завтра. Не нужно долгой агонии. Я стал чувствителен с некоторых пор. Только скорее.

(Сен-Жюст уходит).

Робеспьер. Конечно, кровавый мессия, который приносит в жертву других, а не жертвует собой. Он освободил их своею кровью, а я их освобождаю их же собственной. Он заставил их грешить, а я принимаю грех на себя. У него была радость страдания, а у меня мука палача. Чье самоотречение больше? Его или мое?—И все-таки в этой мысли—что-то безумное.—Почему мы постоянно глядим лишь на одного? Правда, сын человеческий распинается во всех нас, мы все терзаемся в Гефсиманском саду, покрытые кровавым потом, но никто не освобождает другого своими язвами. Мой Камилл!—Вы все уходите от меня все, безлюдно и одиноко — я один.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КОМНАТА

Дантон, Лакруа, Филиппо, Пари, Камилл Демулен.

Камилл. Скорей, Дантон, мы не можем губить даром времени.

Дантон (переодевается). Но время погубит нас—это очень скучно: всегда надевать сперва рубашку, а потом сверху натягивать штаны, вечером влезать в постель, а утром снова вылезать из нее, и всегда вот этак переставлять одну за другой ноги; не видно ни конца, ни края, когда бы это могло измениться. Очень печально и то, что миллионы уже так делали, и то, что миллионы будут делать так же, и то, что мы, вдобавок, состоим из двух половин, обе жаждут одного и того же, так что все совершается вдвойне,—это очень печально.

Камилл. Ты говоришь совсем ребяческим тоном.

Дантон. Умиравшие часто становятся ребячливыми.

Лакруа. Ты гибнешь из-за своей нерешительности и увлекаешь за собой всех твоих друзей. Оповести трусов, что пришло время соединиться вокруг тебя, собери всех и с Равнины, и с Горы. Кричи о тирании децемвиров, говори о кинжалах, призывай Брута, тогда ты испугаешь трибуну и соберешь вокруг себя даже тех, кому угрожают, как сообщникам гебертистов. Ты должен поддаться своему гневу. Чтоб и нам по крайней мере не умереть, как позорным гебертистам, униженным и безоружным.

Дантон. У тебя плохая память. Ты назвал меня мертвым святым. Ты оказался более прав, чем ожидал. Я побывал в секциях, они были преисполнены почтения, но холодны, как мертвецы. Я моги, а моги выбрасывают на улицу: ты был прав.

Лакруа. Зачем ты допустил до этого?

Дантон. До этого? Право же мне под конец стало скучно постоянно ходить в той же самой одежде и закладывать одни и те же складки! Это жалко! Быть таким убогим инструментом, на котором единственная струна издает всегда один и тот же тон! Невыносимо. Я хотел устроиться по своему вкусу. Я достиг этого; революция дает мне покой, хотя и на другой лад, чем я думал.—Кроме того, на что мне опереться?—Пожалуй одни наши потаскушки могли бы еще померяться с гильотинными ханжами; другого средства я не знаю. Можно перечислить по пальцам: якобинцы объявили, что добродетель является очередным делом. Кордельеры называют меня палачом Гебера. Совет коммуны творит покаяние. Конвент—вот, казалось бы, еще одно средство. Но повторилось бы 31-е мая; они добровольно не уступят. Робеспьер, догмат революции, он не может быть вычеркнут. Да это и не удалось бы! А если бы даже и удалось—я предпочитаю быть гильотинированным, чем позволить гильотинировать. Я сыт по горло; зачем нам, людям, враждовать друг с другом? Нам следовало бы сесть рядом и отдохнуть. Когда нас создавали, была допущена какая-то ошибка; нам чего-то не хватает; я не знаю, как это нечто называется, но нам его не выпотрошить из внутренностей друг у друга, зачем же нам, в таком случае, вспарывать друг другу животы? Чего там! мы жалкие алхимики.

Камилл. Говоря патетически, это значило бы: долго ли будет человечество в вечном голоде пожирать свое собственное тело? Или, долго ли мы, спасшиеся на обломках от кораблекрушения, будем в неутолимой вражде высасывать друг у друга кровь из жил? Или, долго ли мы, воплощенные алгебраисты, в поисках неизвестного, вечно запретного икса, будем писать наши вычисления оторванными человеческими конечностями?

Дантон. Ты—сильное эхо.

Камилл. Не правда ли?—пистолетный выстрел звучит, как громовой раскат. Тем лучше для тебя, тебе следует всегда иметь меня при себе.

Филиппо. А Франция будет предоставлена своим палачам?

Дантон. Что ж из того? Люди чувствуют себя при этом хорошо. У них несчастье. Не довольно ли этого, чтобы быть чувствительными, благородными, добродетельными или просто не скучать? Так не все ли равно, умирают они на гильотине или от лихорадки, или от старости! Первое даже предпочтительнее, они ловко уходят за кулисы и, уходя,

могут делать красивые жесты и слышать, как аплодируют зрители. Это очень мило и идет нам, мы всегда находимся на сцене, даже если нас в конце концов действительно закалывают. Очень хорошо, что срок жизни немного сокращен, одежда была слишком длинна, наше тело не могло ее заполнить. Жизнь становится эпиграммой, это еще куда ни шло. У кого же хватит дыхания и таланта для эпоса в пятьдесят или шестьдесят песен? Настало время, когда чуточку эссенции нужно пить не из ушатов, а из ликерных рюмок, так, по крайней мере, хоть глотка полна, а то едва можно было собрать несколько капель в неуклюжий сосуд. В конце концов... мне пришлось бы кричать, это для меня слишком хлопотливо, жизнь не стоит труда, который затрачиваешь на то, чтобы сохранить ее.

Пари. Так беги, Дантон!

Дантон. Разве родину унесешь на подошвах? Да в конце концов—и это главное—они не посмеют. (К Камиллу). Пойдем, мой мальчик, я говорю тебе: они не посмеют. До свидания, до свидания!

(Дантон и Камилл уходят).

Филиппо. Так он уходит?

Лакруа. И не верит ни одному слову из того, что сказал. Одна ложь! Он лучше даст себя гильотинировать, чем скажет речь.

Пари. Что делать?

Лакруа. Итти домой и, подобно Лукреции, подумать о приличной гибели.

ГУЛЯНЬЕ

Гуляющие.

Гражданин. Моя добрая Жаклина, я хотел сказать: Корн... хотел сказать: Кор...

Симон. Корнелия, гражданин, Корнелия.

Гражданин. Моя добрая Корнелия порадовала меня мальчиком.

Симон. Родила республике сына.

Гражданин. Республике? Это звучит слишком обще: можно подумать...

Симон. Так оно и есть, частное должно общему...

Гражданин. Ах да, это и моя жена говорит.

Уличный певец (поет). Где и в чем, где и в чем

Смех и радость мы найдем?

Гражданин. Вот с именем у меня никак не ладится.

Симон. Окрести его: Пике, Марат.

Уличный певец. И с насадой и с заботой
Целый долгий день работай
От зари и до зари.

Гражданин. Мне бы хотелось троих. Число три имеет какое-то значение. И кроме того нечто полезное, нечто правильное; теперь у меня: Флюг, Робеспьер. А третий?

Симон. Пике.

Гражданин. Благодарю вас, сосед. Пике, Флюг, Робеспьер, это красивые имена, все прекрасно устраивается.

Симон. Говорю тебе, грудь твоей Корнелии будет подобна сосцам римской волчицы — нет, это не годится, Ромул был тираном, это не годится. (Проходят).

Нищий (поет). „Горсточка землицы и пучок травы...“
добрые господа, прекрасные дамы!

1-й господин. Работай парень, ты на вид хорошо откормлен.

2-й господин. На! (Дает ему деньги). У него рука словно бархат. Это бесстыдно!

Нищий. Откуда у вас взялся сюртук, сударь?

2-й господин. Работа, работа! Ты мог бы иметь такой же; я дам тебе работу, приходи ко мне, я живу...

Нищий. Сударь, для чего вы работали?

2-ой господин. Дурак, чтоб иметь сюртук.

Нищий. Вы мучились ради наслаждения. Потому что подобный сюртук — наслаждение; тряпье доставляет его тоже.

2-й господин. Конечно, иначе быть не может...

Нищий. Чтобы я был дурак... Одно другому противоречит. Солнце жарко светит на углу, и это совсем просто. (Поет). „Горсточка землицы да пучок травы...“

Розали (Аделаиде). Беги скорей. Там идут солдаты. У нас со вчерашнего дня не было ничего горячего в животе.

Нищий. „Мне в удел последний будут суждены...“ Господа, сударыни!

Солдат. Стой! куда это, дети мои? (К Розали). Сколько тебе лет?

Розали. Столько же, сколько моему мизинцу.

Солдат. Ты очень остра.

Розали. А ты очень туп.

Солдат. Так я хочу об тебя понаострить (Поет):

Страдаешь ли, красавица,
От раны от своей,
От своей, от своей, от своей?!

Розали (поет). Нет, brave солдатики,
Пусть болит сильнее,
Пусть сильнее, пусть сильнее, пусть
сильней!!

Дантон и Камилл появляются.

Дантон. Ну, разве это не весело? Я чувствую что-то в атмосфере, кажется, будто солнце порождает распутство. (Проходит).

Молодой человек. Ах, сударыня, звук колокола, закат на деревьях, мерцание звезды...

Дама. Запах цветка, естественные радости, это чистое наслаждение природой! (К дочери). Взгляни, Эжени, только глаза добродетели созданы для этого.

Эжени (целует руку матери). Ах, мама, я вижу только вас.

Дама. Доброе дитя!

Молодой человек (шепчет на ухо Эжени). Видите там красивую даму со старым господином?

Эжени. Я ее знаю.

Молодой человек. Говорят, что парикмахер причесал ее à l'enfant.

Эжени (смеется). Злой язык!

Молодой человек. Старик идет возле нее, он видит, как наливается бутон, прогуливает его по солнышку и считает себя грозным ливнем, взрастившим его.

Эжени. Как неприлично. Мне хочется покраснеть.

Молодой человек. Это заставило бы меня побледнеть.

Дантон (Камиллу). Только не требуй от меня ничего серьезного. Я не понимаю, почему люди не останавливаются на улице и не хохочут в лицо друг другу. Мне кажется, что им следовало бы смеяться, высунувшись из окон и гробов, и небо должно было бы треснуть, и земля должна была бы колебаться от смеха. (Уходят).

Первый господин. Я вас понимаю. Необычайное открытие. Все технические искусства приобретают благодаря этому другую физиономию. Человечество гигантскими шагами спешит навстречу своему будущему.

Второй господин. Вы видели новую пьесу? Вавилонская башня, путаница сводов, лесенок, переходов, и все так легко и смело стремится в воздух. На каждом шагу головокружение. Станный ум.

(Он останавливается в нерешительности).

Первый господин. Что с вами?

Второй господин. Ах ничего! Вашу руку, сударь! Лужа. Вот так! Благодарю вас, я едва прошел мимо; это могло быть опасно.

Первый господин. Ведь не испугались же вы?

Второй господин. Да, земля—только тоненькая корка, мне всегда кажется, что она может провалиться там, где есть отверстие. Нужно ступать с осторожностью, можно проломить. Но сходите в театр, я вам советую.

КОМНАТА

Дантон. Камилл. Люсиль.

Камилл. Я говорю вам, если б им не давалось в театрах, на концертах и художественных выставках деревянных копий разрозненного целого, они бы не видели и не слышали его. Вырежет кто-нибудь марионетку, у которой видна продернутая веревка, приводящая ее в действие, и суставы которой скрипят пятистопным ямбом—какие чувства, какие последствия! Возьмет кто-нибудь какое-либо ощущение, какое-либо изречение, какое-либо понятие и оденет его в сюртук и штаны, сделав ему руки и ноги, раскрасит лицо и пустит эту штуку кружиться на протяжении трех актов, пока она напоследок не женится или не застрелится—идеал! Напикивает кто-нибудь оперу, которая воспроизводит взлеты и падение человеческой жизни, как водяная дудка соловья—ах! Искусство! — Выставьте людей из театра на улицу—жалкая действительность! Они забывают своего господа бога ради его плохих подражателей. Они не видят и не слышат творения, которое, пылая, гремя и сверкая ежеминутно, возрождается в них самих. Они ходят в театр, читают стихи и романы, корчат рожи по образцу выведенных в них лиц и говорят божьим созданиям: как пошло! Греки знали, что говорили, когда рассказывали, будто статуя, сделанная Пигмалионом, ожила, но не имела детей.

Дантон. А художники обходятся с природой, как Давид, который в сентябре хладнокровно зарисовывал убитых, когда они были выброшены из тюрьмы на улицу, и говорил: я уловил последние трепетания жизни в этих мошенниках.

(Дантона вызывают).

Камилл. Что ты скажешь, Люсиль?

Люсиль. Ничего, я так люблю смотреть на тебя, когда ты говоришь.

Камилл. И слушаешь меня тоже?

Люсиль. Ну, конечно.

Камилл. Прав ли я? Знаешь ли ты то, что я сказал?

Люсиль. Нет, по правде говоря, нет. (Дантон возвращается).

Камилл. Что с тобой?

Дантон. Комитет Общественного Спасения постановил арестовать меня. Меня предупредили и предлагали убежище. Они хотят моей головы: пускай. Мне наскучила эта возня. Пусть себе берут ее, что за беда? Я сумею мужественно умереть, это легче, чем жить.

Камилл. Дантон, время еще есть.

Дантон. Невозможно,—но я никогда не подумал бы...

Камилл. Твоя лень!

Дантон. Я не ленив, а устал. У меня горят подметки.

Камилл. Куда ты идешь?

Дантон. Да, если б это было кому-нибудь известно!

Камилл. Серьезно. Куда?

Дантон. Гулять, дружище, гулять. (Уходит).

Люсиль. Ах, Камилл!

Камилл. Успокойся, крошка.

Люсиль. Когда я думаю, что эту голову!.. Мой Камилл, это вздор, ведь правда, я безумна?

Камилл. Успокойся, Дантон и я не одно и то же.

Люсиль. Земля велика, и на ней так много всяких вещей—почему же именно как раз эту? Кто же отнимет ее у меня? Это было бы слишком жестоко. Что бы они с ней стали делать?

Камилл. Повторяю тебе, ты можешь быть спокойна. Вчера я говорил с Робеспьером; он был любезен. Правда, у нас с ним несколько натянутые отношения; различное мировоззрение, но и только.

Люсиль. Сходи к нему.

Камилл. Мы сидели на одной школьной скамье. Он всегда был угрюм и одинок. Только я один отыскивал его и порой заставлял смеяться. Он всегда выражал большую привязанность ко мне. Я пойду.

Люсиль. Так скоро, друг мой? Иди! Вернись! Только вот (целует его) и вот! Иди! Иди! (Камилл уходит). Ужасное время. Так нужно. Кто может противиться ему? Нужно крепиться. (Поет):

„Разлука, разлука, разлука,

О кто же ее ожидал?“

Почему именно эти слова пришли мне в голову? Нехорошо, что они нашли дорогу сами собой.—Когда он выходил, мне

показалось, что он не может оглянуться и должен идти все дальше от меня, все дальше. Как пуста комната; окна открыты настежь, словно здесь лежал покойник. Я не держу здесь, наверху. (Уходит).

ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ

Дантон. Я не хочу идти дальше. Я не хочу, чтоб эта тишина оглашалась болтовней моих шагов и хрипом моего дыхания. (Он садится; после паузы). Мне рассказывали о болезни, которая заставляет терять память. Смерть должна быть чем-то вроде этого. Потом у меня иной раз является надежда, что она, может быть, влияет еще сильнее и может заставить потерять все. Если б так было! Тогда, значит, я бежал, как христианин, чтобы спасти моего врага, т.е. мою память. Место должно быть надежное, но для моей памяти, а не для меня; для меня могила надежнее, она даст мне, по крайней мере, забвение. Она убьет мою память, а там моя память будет жить и убьет меня. Я или она? (Он поднимается и идет назад). Я кокетничаю со смертью, очень приятно так издали сквозь лорнет переглядываться с ней. В конце концов мне хочется смеяться над всей историей. Во мне есть какое-то чувство живучести, которое говорит мне: завтра, и послезавтра, и потом все то же самое, что и сейчас. Это пустой звук. Они хотят испугать меня; они не посмеют. (Уходит).

КОМНАТА

(Ночь).

Дантон (у окна). Неужели же это никогда не кончится? Неужели свет никогда не погаснет и звук никогда не замрет? Неужели же никогда не станет тихо и темно, чтобы мы больше не видели и не слышали гнусных грехов друг друга?— Сентябрь!

Жюли (зовет в глубине). Дантон! Дантон!

Дантон. А?

Жюли (входит). Что ты кричишь?

Дантон. Разве я кричал?

Жюли. Ты говорил о гнусных грехах и потом просто-наконец: Сентябрь!

Дантон. Я? я? Нет, я не говорил, я едва подумал об этом, это были совсем тихие, тайные мысли.

Жюли. Ты дрожишь Дантон.

Дантон. Как же мне не дрожать, когда стены так все разбалтывают? Если мое тело так разбито, что мои неустойчивые, бродячие мысли говорят устами камней. Это странно.

Жюли. Жорж, мой Жорж!

Дантон. Да, Жюли, это очень странно. Я не хочу больше думать, если все это сейчас же высказывается вслух. Есть мысли, Жюли, для которых не должно бы существовать ушей. Нехорошо, что они кричат при самом рождении, как дети; это нехорошо.

Жюли. Да сохранит господь тебе твой разум, Жорж! Жорж, ты узнаешь меня?

Дантон. А почему бы и нет. Ты человек и кроме того женщина, и наконец моя жена, и земля имеет пять частей света, Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию, и дважды два—четыре. Я в здравом уме, видишь?—Разве я не кричал: Сентябрь? Ты кажется говорила что-то такое?

Жюли. Да, Дантон, я слышала это через все комнаты.

Дантон. Когда я подошел к окну (выглядывает из окна)—город спокоен, все огни погашены.

Жюли. Ребенок кричит поблизости.

Дантон. Когда я подошел к окну—по всем улицам кричало и вопило: Сентябрь!

Жюли. Ты грезил, Дантон, опомнись.

Дантон. Грезил? Да, я грезил; но это было другое, я сейчас скажу тебе, моя бедная голова слаба сейчас! Так, теперь я вспомнил. Подо мной гудел земной шар в своем вращении; я оседлал его, как дикого коня, гигантскими руками и ногами вцепился я ему в гриву и сжимал ребра, склонив голову с взъерошенными ветром волосами над бездной; так я летел. Вдруг я вскрикнул от страха и проснулся. Я подошел к окну и тогда я услышал это, Жюли.—Что значит это слово? Почему именно это? Какое мне до него дело? Почему оно простирает ко мне кровавые руки? Я не убивал его. О, помоги мне, Жюли, мой мозг притупился. Разве это было не в сентябре, Жюли?

Жюли. Короли были всего на расстоянии 40 часов от Парижа.

Дантон. Крепости пали. Аристократы были в городе.

Жюли. Республика погибала.

Дантон. Да, погибала. Мы не могли ударить врагу в тыл, мы были дураками, двумя врагами на одной доске; мы или они, сильнейший сбрасывает слабейшего вниз, разве это не справедливо?

Жюли. Да, да.

Дантон. Мы победили их, это было не убийство, это была внутренняя война.

Жюли. Ты спас родину.

Дантон. Да, я это сделал, это была самозащита, мы были вынуждены. — Человек на кресте легко отделался: должно прийти соблазну, но горе тому, через кого соблазн приходит! — Должно; тогда и было это должно! — Кто проклянет руку, на которую пало проклятие этого должно! Кто сказал это должно, кто? Что же это такое, что в нас распутничает, лжет, крадет и убивает? Мы — куклы, которых дергают за проволоку неведомые силы; мы сами ничто, ничто, — мечи, которыми борются духи: — только рук не видно, как в сказках. — Теперь я спокоен.

Жюли. Совсем спокоен, сердце мое?

Дантон. Да, Жюли, пойдем спать.

УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ДАНТОНА

Симон, национальные гвардейцы.

Симон. Далеко ли за полночь?

1-й гражданин. Что за полночь?

Симон. Долго ли до утра?

1-й гражданин. Столько же, сколько до восхода солнца.

Симон. Негодяй, сколько времени?

1-й гражданин. Посмотри на циферблат, теперь время, когда...

Симон. Мы должны подняться наверх! Вперед, граждане! Мы ручаемся за это нашими головами. Мертвым или живым! У него сильное тело. Я буду предводительствовать, граждане. Свобода улице! — Позаботьтесь о моей жене! Я завещаю ей лубовый венок.

1-й гражданин. Желудковый венок? Ей и так довольно каждый день падает желудей в подол!

Симон. Вперед, граждане, вы послужите родине.

2-й гражданин. Я хотел бы, чтоб родина послужила нам. Все дыры, которые мы делаем в других туловищах, еще не закрыли ни одной дыры на наших штанах.

1-й гражданин. А тебе хотелось бы, чтоб у твоих штанов закрылась прореха? Ха-ха-ха!

Симон. Вперед, вперед! (Они врываются в дом Дантона).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ

Группа депутатов.

Лежандр. Неужели же избиение депутатов не прекратится? — Кто может считаться в безопасности, если Дантон гибнет?

1-й депутат. Что делать?

2-й депутат. Он должен быть выслушан в Конвенте. Последствия этой меры обеспечены: что могут они противопоставить его голосу?

3-й депутат. Невозможно, декрет запрещает это.

Лежандр. Он должен быть взят обратно, или должно быть сделано исключение. Я внесу предложение. Я рассчитываю на вашу поддержку.

Президент. Объявляю заседание открытым.

Лежандр (входит на трибуну). Четыре члена Национального Конвента схвачены прошедшую ночь. Я знаю, что один из них Дантон, имен остальных я не знаю. Впрочем, кто бы они ни были, я требую, чтобы они были выслушаны в Конвенте. — Граждане, я объявляю, что считаю Дантона таким же чистым, как самого себя, а я не думаю, чтобы мне можно было сделать какой-нибудь упрек. Я не желаю задевать ни одного из членов Комитетов Общественного Спасения или Общественной Безопасности, но основательные причины принуждают меня опасаться того, что личная ненависть и личная любовь могут отнять у свободы людей, оказавших ей величайшие услуги. Человек, который своей энергией спас Францию в 1792 году, заслуживает того, чтоб его выслушали; он должен иметь право объясниться, если его обвиняют в государственной измене. (Сильное движение).

Несколько голосов. Мы поддерживаем предложение Лежандра.

Один из депутатов. Мы здесь от имени народа. Без воли наших избирателей нас не могут согнать с наших мест.

Другой. Ваши слова пахнут покойником. Вы их вынули изо рта у жирондистов. Вы хотите привилегий? Секира законна подъята над всеми головами.

Другой. Мы не можем позволить нашим Комитетам посылать законодателей из убежища закона на гильотину.

Другой. У преступника нет убежища, только коронованные преступники находили его прежде на троне.

Другой. Только мошенники апеллируют к праву убежища.

Другой. Только убийцы не признают его.

Робеспьер. Тревога, незнакомая этому собранию с давних времен, знаменует, что дело идет о важных вопросах. Сегодня выяснится, одержат ли несколько человек верх над родиной. Как можете вы настолько попираť свои законы, чтобы позволить сегодня некоторым лицам то, что вы запретили Шабб, Делонэ и Фабру? Почему такая разница в угоду нескольким людям? Что мне за дело до похвал, воздаваемых себе самому и своим друзьям? Слишком много улик доказало нам, что из всего этого можно сохранить. Мы не спрашиваем, совершил ли данный человек то или иное патриотическое деяние; мы спрашиваем обо всем его политическом поприще. — Повидимому, Лежандр не знает имен арестованных. Весь Конвент их знает. Его друг Лакруа находится среди них. Почему же Лежандр притворяется незнающим этого? Потому что он хорошо знает, что только бесстыдство может защищать Лакруа. Он назвал только Дантона, ибо думает, что это имя имеет привилегию. Нет, мы не желаем привилегий, мы не желаем кумиров. (Одобрение). Какие преимущества имеет Дантон перед Лафайетом, Дюмурье, Бриссо, Фабром, Гебером? Что можно сказать о них, чего нельзя было бы также сказать и о нем? Чем заслужил он преимущество перед своими согражданами? Разве тем, что несколько обманутых человек и таких, которые не дали себя обмануть, сплотились вокруг него, чтобы в его свите броситься в объятия счастья и могущества? Чем больше он обманывал патриотов, доверившихся ему, тем сильнее он должен внушать строгость друзьям свободы. — В вас хотят вселить страх перед злоупотреблением власти, которую вы сами создали. Кричат о деспотизме комитетов, как будто доверие, которое вам даровал народ и которое вы передали этим комитетам, не служит достаточной гарантией их патриотизма. Притворяются, будто трепещут. А я говорю вам: тот, кто сейчас трепещет — виновен, ибо невинность никогда не трепещет перед общественной бдительностью. (Общее одобрение). Хотели также испугать и меня; мне дали понять, что опасность, приближаясь к Дантону, может приблизиться и ко мне. Мне пишут, что друзья Дантона держат меня в осаде, полагая, что воспоминание о старой привязанности, слепая вера в притворную добродетель могут меня заставить умерить мою ревность и любовь к свободе. — Поэтому я объявляю: ничто не удержит меня, если даже беда, грозящая Дантону, станет угрожать мне. Нам всем нужно немного мужества и великодушия. Только преступники и малодушные боятся видеть, как падают подле них подобные им, потому что, когда

их более не скрывает толпа сообщников, они чувствуют себя освещенными истиной. Но если в этом собрании есть подобные души, то в нем есть и героические. Число мошенников не велико; нам нужно поразить лишь несколько голов, и родина будет спасена. (Одобрение). Я требую, чтобы предложение Лежандра было отклонено.

(Все делегаты поднимаются в знак общего согласия).

Сен-Жюст. В этом собрании, кажется, есть уши, которые не могут переносить слова: кровь. Несколько общих замечаний по поводу соотношений природы и истории смогут их убедить, что мы не более жестоки, чем природа и время. Природа следует спокойно и неуклонно своим законам; человек уничтожается там, где он входит с ней в противоречие. Изменение в составе воздуха, вспышка теллурического огня, колебание в равновесии водной массы и повальная болезнь, извержение вулкана, наводнение хоронят тысячи. Каков же результат? Незначительное в огромном целом, почти незаметное изменение физической природы, которое прошло бы почти бесследно, если бы на его пути не легли трупы. — Теперь я спрашиваю: должна ли нравственная природа в своей революции иметь более снисхождения, чем физическая? Не должна ли идея иметь право, так же, как физический закон, уничтожать то, что ей противится? Разве же событие, изменяющее весь строй моральной природы, то есть человечества, не смеет переступить через труп? Мировой гений пользуется в духовной сфере нашими руками, точно так, как в физической применяет вулканы и наводнения. Так не все ли равно, умрут они от чумы или революции? — Шаги человечества медленны, их можно считать только столетиями, за каждым возвышаются могилы целых поколений. Достижение простейших открытий и законов стоило жизни миллионам, умершим на дороге. Не естественно ли, что в пору, когда шаги истории быстрее, гибнет больше людей? Мы делаем быстрое и простое заключение: так как мы все созданы в одинаковых условиях, то мы все равны, исключая различий, созданных самой природой. Поэтому не должно быть никаких преимуществ и привилегий, не только для каждого в отдельности, но и для большего или меньшего класса людей. Каждое слово этой приведенной в действительность фразы убивает людей. 14-е июля, 10-е августа, 31-е мая — знаки препинания в ней. Ей потребовалось четыре года, чтобы пройти в вещественный мир, а при обычных условиях ей понадобилось бы для этого

целое столетие, и знаками препинания ей служили бы поколения. Что ж удивительного в том, что поток революции на каждом уступе, на каждом новом повороте выбрасывает свои трупы?—Мы прибавим к нашей фразе еще несколько заключений; неужели же несколько сот трупов помешают нам претворить ее в жизнь?—Моисей, прежде чем основать новое государство, провел свой народ через Красное море и пустыню, пока старое поколение не износилось. Законодатели! У нас нет ни Красного моря, ни пустыни, но у нас есть война и гильотина. Революция подобна дочерям Пелия, она рассекает человечество на части, чтобы омолодить его. Человечество поднимается из кровавого котла, как земля после потопа, с исполненным первоначальной силой телом, словно оно создано впервые. (Долгое продолжительное одобрение. Некоторые члены в энтузиазме встают).

Сен-Жюст. Всех тайных врагов тирании, которые в Европе и на всем земном шаре носят под одеждой кинжал Брута, мы призываем разделить с нами это высокое мгновение.

(Слушатели и депутаты затягивают Марсельезу).

ЛЮКСЕМБУРГ

Зал заключенных.

Шометт, Пэн, Мерсье, Эро-де-Сешелль и другие заключенные.

Шометт (дергает Пэна за рукав). Послушайте, Пэн, ведь может быть и так. Недавно на меня нашло, у меня болит голова, помогите мне немного вашими выводами, мне ужасно страшно.

Пэн. Ну, так иди, философ Анаксагор, я поучу тебя катехизису.—Бога нет, ибо: или бог создал мир, или не создал. Если он его не создал, то мир имеет свою причину в самом себе, и бога нет, ибо бог становится богом только благодаря тому, что он является причиной всякого бытия. Между тем бог не мог создать мир, ибо или творение так же вечно как бог, или оно имеет начало. Теперь, если верен последний из случаев, то бог должен был приурочить творение к определенному мигу. Тогда значит бог, после того как он покоился целую вечность, вдруг стал действенным, то есть, следовательно, претерпел в себе некое изменение, благодаря чему к нему становится приложимо понятие о времени, а то и другое противоречит понятию о сущности бога. Следовательно бог не мог создать мир. Но так как нам определенно

известно, что мир, или по крайней мере наше я, существует и что они, согласно предыдущему, так же должны иметь свою причину в себе или в чем-то другом, что не есть бог, то следовательно бога существовать не может. Quod erat demonstrandum ¹⁾.

Шометт. Ах, правда, я теперь опять понимаю, спасибо, спасибо.

Мерсье. Постойте, Пэн, ну, а если творение вечно?

Пэн. Тогда оно уж больше не творение, тогда оно составляет с богом одно целое или является атрибутом такового, как говорит Спиноза, тогда бог во всем, в вас, почтеннейший, в философе Анаксагоре и во мне. Это было бы не так плохо, но вы должны согласиться со мной, что не очень величественно, если господь бог может в любом из нас схватить зубную боль, проказу, быть погребенным заживо или, по крайней мере, хоть иметь об этом очень неприятные представления.

Мерсье. Но ведь какая-нибудь причина должна же существовать?

Пэн. Кто отрицает это? Но кто говорит вам, что эта причина является тем, что мы себе представляем, как бога, т. е. как Совершеннейшее? Считаете вы мир совершенным?

Мерсье. Нет.

Пэн. Как же вы по несовершенному следствию хотите заключить о совершенной причине?—Вольтер не смел портить свои отношения с богом, как и с королями, поэтому он делал это заключение. Кто не имеет ничего, кроме своего разума, и даже не умеет его последовательно употреблять—плохой игрок.

Мерсье. Я спрашиваю на это: может ли совершенная причина иметь совершенное следствие, т. е. может ли нечто совершенное создать совершенное?—Может ли это быть, если творение никогда не может иметь свою причину в себе, что, как вы говорите, свойственно совершенству?

Шометт. Молчите! молчите!

Пэн. Успокойся, философ. Вы правы; но если бог должен творить, и может творить лишь несовершенное, то не лучше ли ему вовсе бросить это? Не чрезмерно ли по человечески представлять себе бога лишь творящим? Неужели, если мы сами шевелимся и движемся, чтобы только иметь возможность сказать себе: „мы существуем“, мы должны и богу приписать эту жалкую потребность? Неужели, когда наш дух по-

¹⁾ Что и требовалось доказать.

гружается в сущность гармонического, покоящегося в себе самом блаженства, мы должны сейчас же предположить, что оно должно протягивать пальцы и на столе лепить человечков из хлеба—из неодолимой потребности любви—как мы таинственно шепчем себе на ухо. Неужели мы должны представить себе все это, только для того, чтоб считать себя сынами божьими? Я предпочту себе менее значительного отца, по крайней мере я не смогу потом сказать ему, что он дал мне недостойное его положения воспитание: в свинарнике или на галерах.—Уничтожьте несовершенное; только тогда вы можете демонстрировать бога,—Спиноза пытался делать это. Можно отрицать только зло, а не боль, только разум может доказывать существование бога, чувство восстает против этого.—Заметь себе, Анаксагор, почему я страдаю? Это оплот атеизма. Легчайшее содрогание боли, возникшее хоть в одном атоме, разрывает творение сверху до низу.

Мерсье. А мораль?

Пэн. То вы выводите мораль из бога, то бога из морали. Великолепное кольцеобразное заключение, которое само себе лижет зад. Чего вам нужно с вашей моралью? Я не знаю, существует ли что-нибудь злое или доброе в себе и для себя, и не имею надобности ради этого менять свой образ действий. Я поступаю соответственно своей природе; то, что ей соответствует, для меня добро, и я его делаю; что ей противится, для меня зло, и я не делаю его и борюсь с ним, когда оно попадается мне на дороге. Вы можете, как говорится, быть добродетельным и защищаться от так называемого порока, не презирая ради этого своего противника, что является весьма печальным чувством.

Шометт. Справедливо, чрезвычайно справедливо!

Эро. О, философ Анаксагор, но ведь можно было бы так же сказать: для того, чтобы бог был всем, он должен быть также своей собственной противоположностью, т. е. совершенным и не совершенным, злым и добрым, блаженным и страдающим; правда, результат равнялся бы нулю, все взаимно сокращалось бы, мы бы пришли к Ничто.—Радуйся, ты счастливо отделался, ты можешь совершенно спокойно обожать в госпоже Моморо венец создания; она по крайней мере составила тебе для этого четки.

Шометт. Почтительнейше благодарю вас, господа.
(Уходит).

Пэн. Он все еще не верит, напоследок он еще захочет, чтоб его соборовали, положили ногами в сторону Мекки и

совершили над ним обрезание, чтоб уж использовать все дороги.

(Вводят Дантона, Лакруа, Камилла и Филиппо).

Эро (бежит навстречу Дантону и обнимает его). С добрым утром! Спокойной ночи!—должен был бы я сказать. Я не могу спросить, каково ты спал? Как ты будешь спать?

Дантон. Ну, ладно, нужно ложиться в постель смеясь.

Мерсье (Пэну). Уж этот пес с голубиными крыльями! Он злой гений революции, он посягнул на свою мать, но она была сильнее его.

Пэн. Его жизнь и смерть одинаково крупное несчастье.

Лакруа (Дантону). Я не думал, что вы так скоро придете.

Дантон. Я знал об этом, меня предупреждали.

Лакруа. И ты ничего не сказал?

Дантон. Зачем? Удар—лучшая смерть! Неужели же ты предпочел бы сперва хворать? И я не думал, что они отважатся на это. (Эро). Лучше лечь в землю, чем, бегая по ней, натирать себе мозоли; я предпочитаю иметь ее подушкой, чем ножной скамеечкой.

Эро. По крайней мере мы будем ласкать щеки прекрасной дамы Гнили не мозолистыми пальцами.

Камилл (Дантону). Не надрывайся так, ты можешь еще в два раза больше высунуть язык из глотки, но все же не слизнешь со лба предсмертного пота. О, Люсиль! это большое несчастье!

(Заключенные теснятся вокруг вновь прибывших).

Дантон (Пэну). То, что вы делали для блага вашей родины, я пытался сделать для своего. Я был менее счастлив, меня посылают на эшафот; что ж, пускай, я не буду упираться.

Мерсье. Кровь двадцати двух поглотит тебя.

Один из заключенных (Эро). Власть народа и власть разума одно и то же.

Другой (Камиллу). Ну-с, генеральный прокурор фонаря, от твоего усовершенствования уличного освещения во Франции не стало светлее.

Другой. Оставьте его! Это уста, которые произнесли слово Пощада. (Он обнимает Камилла, многие заключенные следуют его примеру).

Филиппо. Мы, священники, молившиеся с умирающими, мы заразились и умираем от той же болезни.

Несколько голосов. Удар, который поразил вас, убьет всех нас.

Камилл. Господа, я очень жалею, что наши стремления были так бесплодны; я иду на эшафот за то, что у меня увлажнились глаза от сострадания к судьбе нескольких несчастных.

КОМНАТА

Фукье-Тенвиль, Эрманн.

Фукье. Все готово?

Эрманн. Это трудно; не будь среди них Дантона, было бы легко.

Фукье. Он должен танцевать первым.

Эрманн. Он перепугает присяжных, он воронье пугало революции.

Фукье. Присяжные должны захотеть.

Эрманн. Я бы нашел средство, но оно нарушит обычный порядок.

Фукье. Говори.

Эрманн. Мы не будем бросать жребий, а отыщем надежных.

Фукье. Это должно удался. Это вызовет славный перекрестный огонь. Их там девятнадцать. Они искусно связаны друг с другом. Четыре подделывателя, потом несколько банкиров и иностранцы. Это пряное кушанье. Народ нуждается в таком. Так, значит, надежных людей! Кого, например?

Эрманн. Леруа, он глух и поэтому ничего не слышит из того, что говорят обвиняемые. Дантон может у него кричать до хрипоты.

Фукье. Очень хорошо; дальше!

Эрманн. Вилатта и Ламбера, один всегда сидит в буфете, а другой всегда спит. Оба открывают рты лишь для того, чтобы сказать слово: виновен.—У Жирара правило: он не должен упускать никого из тех, кто однажды предстал перед трибуналом. Реноден...

Фукье. Этого тоже? Он раз помог нескольким попам.

Эрманн. Будь покоен. Несколько дней тому назад он пришел ко мне и требовал, чтоб всем осужденным перед приговором пускали кровь, чтобы они несколько ослабели; их дерзкое по большей части поведение раздражает его.

Фукье. А, прекрасно. Значит, я полагаюсь на это.

Эрманн. Предоставь уж мне действовать.

ЛЮКСЕМБУРГ

Коридор.

Лакруа, Дантон, Мерсье и другие заключенные ходят взад и вперед.

Лакруа (одному из заключенных). Как, столько несчастных в столь жалком положении?

Заключенный. Разве гильотинные повозки не говорили вам, что Париж стал бойней?

Мерсье. Не правда ли, Лакруа? Равенство заносит свою косу над всеми головами, лава революции струится, гильотина республики—канонизирует! Галереи этому рукоплещут, а римляне потирают себе руки; но они не слышат, что каждое из этих слов является предсмертным хрипом жертвы. Проследите-ка за вашими фразами до той самой точки, в которой они начинают воплощаться. Оглянитесь вокруг себя: все это говорили вы, это мимическое переложение ваших слов. Эти несчастные, их палачи и гильотина—это ваши ожившие речи. Вы строите вашу систему, как Баязет свою пирамиду из человеческих голов.

Дантон. Ты прав! Нынче все мастера из человеческого тела. В этом проклятие нашего времени. Мое тело теперь тоже пойдет в ход.—Исполнился ровно год с тех пор, как я создал Революционный Трибунал. Я прошу в том прощение у бога и людей, я хотел предотвратить новые сентябрьские убийства, я надеялся спасти невинных, но это медленное убийство со своими формальностями еще отвратительнее и столь же неизбежно. Господа, я надеялся дать вам всем возможность покинуть это место.

Мерсье. О, выйти-то мы отсюда выйдем.

Дантон. Теперь я с вами; небу известно, чем это кончится.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ

Эрманн (Дантону). Ваше имя, гражданин?

Дантон. Революция назовет мое имя. Мое жилище скоро будет в Ничто, а мое имя—в Пантеоне истории.

Эрманн. Дантон, Конвент обвиняет вас в ведении заговора с Мирабо, с Дюмуре, с Орлеанами, с жирондистами, иностранцами и партией Людовика XVII.

Дантон. Мой голос, который я поднимал так часто за народное дело, без труда опровергнет клевету. Пусть не-

счастливые, которые обвиняют меня, появятся здесь, и я покрою их позором. Пусть явятся сюда комитеты, я буду отвечать только в их присутствии. Они мне нужны, как обвинители и как свидетели. Пусть они явятся... Впрочем, что мне до вас и до вашего приговора? Я уже сказал вам: Ничто будет скоро моим убежищем; — жизнь мне в тягость, пусть отнимут ее у меня, я жажду стряхнуть ее с себя.

Эрманн. Дантон, дерзости свойственны преступлению, спокойствие невинности.

Дантон. Личная дерзость, без сомнения, заслуживает порицания, но та национальная дерзость, которую я так часто проявлял, совместно с которой я так часто сражался за свободу, — достойнее всех добродетелей. Такова моя дерзость, именно ею пользуюсь я для блага республики против моих жалких обвинителей. Могу ли я владеть собою, когда вижу себя оклеветанным столь низким образом? От революционера, подобного мне, невозможно ожидать хладнокровной защиты. Люди моего склада для революции бесценны, над их головами витает гений свободы (знаки одобрения среди слушателей). — Меня обвиняют в том, что я был в заговоре с Мирабо, с Дюмурье, с Орлеанами, что я сидел у ног жалких деспотов. Меня принуждают отвечать перед неотвратимым, неумолимым судом! Ты, несчастный Сен-Жюст, будешь ответствовать перед потомством за это оскорбление!

Эрманн. Я требую, чтобы вы отвечали спокойно. Вспомните Марата, он с уважением предстал перед своими судьями.

Дантон. Вы наложили руку на всю мою жизнь, так пусть же она восстанет и выйдет вам навстречу. Я погребу вас под тяжестью любого из моих деяний. Я не горжусь этим. Рок направляет нашу руку, но лишь могучие натуры служат ему орудием. Я объявил на Марсовом Поле войну королевской власти, я победил ее 10-го августа, я убил ее 21-го января и, как перчатку, швырнул королям королевскую голову. (Многочисленные знаки одобрения. — Он берет обвинительный акт). — Когда я бросаю взор на этот пасквиль, я чувствую, как возмущается все мое существо. Кто же они, которые в тот достопамятный день (10-го августа) должны были принудить Дантона выступить? Кто же они, эти привилегированные существа, у которых он заимствовал свою энергию? — Пусть появятся мои обвинители! Я в здравом уме требую этого. Я изобличу низких негодяев и снова низрину их в ничто, откуда им не следовало никогда выплзть.

Эрманн (звонит). Разве вы не слышите звонка?

Дантон. Голос человека, защищающего свою честь и жизнь, — должен перекричать твой колокольчик. Я в сентябре вскормил молодой выводок революции искрошенными телами аристократов. Мой голос из золота аристократов и богачей выковал оружие народу. Мой голос был бурей, похоронившей приспешников деспотизма под волнами штыков. (Громкое одобрение).

Эрманн. Дантон, ваш голос истощился. Вы слишком взволнованы. Вы закончите ваши оправдания следующий раз. Вам необходим покой. — Заседание закрыто.

Дантон. Теперь вы знаете Дантона. Еще несколько часов, и он почует в объятиях славы.

ЛЮКСЕМБУРГ

Каземат.

Диллон, Лафлотт, тюремный сторож.

Диллон. Эй, парень, не свети мне так своим носом в лицо. Ха-ха-ха!

Лафлотт. Заткни глотку, твой лунный серп окружен сиянием. Ха-ха-ха-ха!

Сторож. Ха-ха-ха! Как вы думаете, сударь, можете вы читать при вашем собственном свете? (Указывает на записку, которую держит в руке).

Диллон. Давай сюда!

Сторож. Сударь, мой лунный серп вызвал во мне прилив.

Лафлотт. Твои штаны выглядят так, точно был отлив.

Сторож. Нет, они впитывают воду. (Диллону). Лунный серп скрылся перед вашим солнцем, сударь; если вы хотите читать при нем, вы должны дать мне то, что вновь заставит его воссиять.

Диллон. На, малый! Убирайся. (Он дает ему деньги, сторож уходит, он читает). Дантон испугал трибунал, присяжные колебались, слушатели роптали. Стечение было необычайное. Народ толпился вокруг Дворца Правосудия и стоял вплоть до самых скамеек. Горсть денег, руку наконец... хм! хм! (Он ходит взад и вперед, наливая себе время от времени из бутылки). — Если б я только мог ступить на улицу. Я бы не дал себя зарезать. Да, если б только ступить на улицу.

Лафлотт. И на телегу — это одно и то же.

Диллон. Ты думаешь? Тут есть все же промежуток в несколько шагов, достаточно длинных, чтоб измерить их трупами децемвиров... Пора наконец порядочным людям поднять голову.

Лафлотт (про себя). Тем лучше, таким образом будет легче попасть в них. Валяй дальше, старина, еще несколько стаканов, и я буду на свободе.

Диллон. Подлецы, дураки, они напоследок еще самих себя гильотинируют. (Он бежит взад и вперед).

Лафлотт (в сторону). Можно здорово, как собственного ребенка, полюбить опять жизнь, если сам себе дашь ее. Не слишком-то часто представляется возможность предаться кровосмесительству со случаем и стать своим собственным отцом. Одновременно и отец, и ребенок. Славный Эдип.

Диллон. Нельзя кормить народ трупами. Женам Дантона и Камилла следовало бы бросать ассигнации в народе, это лучше, чем головы.

Лафлотт (в сторону). Но я бы не стал вырывать себе глаз после этого; они могли бы мне пригодиться для того, чтобы оплакивать доброго генерала.

Диллон. Наложить руку на Дантона!—Кто же может считаться в безопасности после этого? Страх объединил их.

Лафлотт (в сторону). Он все равно пропал. Что за беда, если я наступлю на труп, чтобы вылезти из могилы!

Диллон. Только бы ступить на улицу! Я найду достаточно народу, старых солдат, жирондистов, бывших дворян: мы взломаем тюрьмы, мы должны войти в соглашение с заключенными.

Лафлотт (в сторону). Правда, это немного пахнет подлостью. Что за беда? Я не прочь попробовать и этого! Я был слишком односторонним до сих пор. Приобретешь угрызения совести—все-таки перемена; не так уж неприятно нюхать свою собственную вонь. Надежда на гильотину мне наскучила; так долго ожидать. Я ее мысленно испробовал уже 20 раз. В этом больше нет ничего пикантного, все стало совершенно обычно.

Диллон. Нужно послать записку жене Дантона.

Лафлотт (в сторону). И потом я боюсь не смерти, а боли. Может быть, это больно—кто мне поручится? Правда, говорят, что всего лишь одно мгновение; но у боли мера времени более утонченная, она разлагает терцию. Нет! Боль есть единственный грех, и страдание—единственный порок; я останусь добродетельным.

Диллон. Слушай, Лафлотт, куда девался малый? У меня есть деньги, дело должно удаться; нужно ковать железо, мой план готов.

Лафлотт. Сейчас, сейчас! Я знаю привратника, я поговорю с ним, ты можешь рассчитывать на меня. Мы выберемся из ямы (про себя, выходя), чтобы попасть в другую, я—в самую просторную, в мир,—он—в самую тесную, в могилу.

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

Сен-Жюст, Баррер, Колло д'Эрбуа, Бильо-Варенн.

Баррер. Что пишет Фукье?

Сен-Жюст. Второй допрос кончился. Заключенные требуют появления нескольких членов Конвента и Комитета Общественного Спасения, они апеллируют к народу по поводу отказа вызвать свидетелей. Волнение умов, говорят, неопишимо. Дантон подражал Юпитеру и встряхивал кудрями.

Колло. Тем легче будет Самсону схватить его за них.

Баррер. Мы не смеем показаться, торговки рыбой и тряпичники найдут нас менее величественными.

Бильо. Народ инстинктивно любит, чтобы его попирали в прах, хотя бы только взглядами; ему нравятся подобные наглые физиономии. Такие лица хуже, чем дворянские гербы; тончайший аристократизм презрения к людям написан на них, каждый должен помочь разбить их, потому что отвратительно получать взгляд сверху вниз.

Баррер. Он словно Зигфрид Роговая Кожа, кровь убитых в сентябре сделала его неуязвимым.—Что говорит Робеспьер?

Сен-Жюст. Он делает вид, будто ему есть, что сказать. Присяжные должны объявить, что они достаточно осведомлены, и прекратить прения.

Баррер. Невозможно, это не удастся.

Сен-Жюст. Их нужно удалить во что бы то ни стало, хотя бы нам пришлось удавить их собственными руками. Дерзайте! Дантон не даром научил нас этому слову. Революция не споткнется об их трупы, но если Дантон останется в живых, он схватит ее за одежду, и в нем есть что-то такое, словно он может изнасиловать свободу. (Сен-Жюста вызывают из комнаты. Входит привратник).

Привратник. В Сент-Пелажи есть заключенные, лежащие при смерти, они требуют врача.

Бильо. Это лишнее. Тем меньше хлопот палачу.

Привратник. Среди них есть беременные женщины.

Бильо. Тем лучше, их детям не понадобится гробов.

Баррер. Чахотка одного аристократа экономит лишнее заседание Революционному Трибуналу. Всякое лечение было бы контр-революционным.

Колло (берет какую-то бумагу). Прощение! Женское имя!

Баррер. Конечно, одной из тех, которым хотелось бы, чтобы их принудили выбирать между досками гильотины и постелью якобинца. Которые, подобно Лукреции, умирают после потери своей чести, но только немного позднее, чем римлянка — от родов или старческой слабости. — Не так уж неприятно выгнать Тарквиния из добродетельной республики девственницы.

Колло. Она слишком стара. Барыня требует смерти, она умеет выражаться: тюрьма давит ее, как крышка гроба. Она сидит всего четыре недели. Ответ негруден. (Он пишет и читает): „Гражданка, ты еще недостаточно долго желаешь смерти“.

Баррер. Хорошо сказано! Но Колло, не хорошо, что гильотина начинает смеяться; тогда у людей не будет никакого страха перед ней, не нужно чрезмерно фамильярничать.

(Сен-Жюст возвращается).

Сен-Жюст. Я только что получил донос. В тюрьмах ведутся заговоры. Молодой человек по имени Лафлотт все открыл. Он сидел в одной камере с Диллоном. Диллон напился и разболтал.

Баррер. Он перерезал себе горло своей бутылкой; это уж не раз случалось.

Сен-Жюст. Жены Дантона и Камилла должны подкупить народ, Диллон намеревается бежать, хотят освободить заключенных. Конвент собираются разогнать.

Баррер. Это сказки.

Сен-Жюст. Однако мы усыпили их этими сказками. Улики у меня в руках, к тому же дерзость обвиняемых, ропот народа, смущение присяжных; я сделаю доклад.

Баррер. Да, ступай, Сен-Жюст, и плети свои периоды, в которых каждая запятая — взмах сабли, а каждая точка — отрубленная голова.

Сен-Жюст. Конвент должен сделать постановление о том, чтобы Трибунал вел процесс без перерыва и имел право устранить от прений каждого обвиняемого, который не будет оказывать должное уважение суду или делать попытки к возмутительным выступлениям.

Баррер. У тебя революционный инстинкт. Это звучит умеренно и все же произведет свое действие. Они не могут безмолвствовать, Дантон должен кричать.

Сен-Жюст. Я рассчитываю на вашу поддержку. В Конвенте есть люди, которые хворают тем же, чем и Дантон, и которые опасаются такого же лечения. Они снова набрались храбрости, они будут кричать о нарушении формальностей.

Баррер (прерывая его). Я скажу им: в Риме консул, открывший заговор Катилины и наказавший преступников смертью на месте, был обвинен в нарушении формальностей. Кто были его обвинители?

Колло (с пафосом). Ступай, Сен-Жюст, лава революции струится. Свобода задушит в своих объятиях слабосильных, которые хотели оплодотворить ее мощное чрево, величие народа явится им, как Юпитер Семеле в громе и молнии, и испепелит их. Ступай, Сен-Жюст, мы поможем тебе, громовые стрелы должны сокрушить головы малодушных.

(Сен-Жюст уходит).

Баррер. Ты слышал слово лечение? Погоди, они еще сделают из гильотины средство против венерических болезней. Они борются не с умеренными, они борются с пороком.

Бильо. До сих пор нам по дороге.

Баррер. Робеспьер хочет сделать из революции аудиторию для обучения нравственности, а гильотину использовать вместо кафедры.

Бильо. Или как аналой.

Колло. Однако он будет не стоять за ним, а лежать на нем.

Баррер. Это будет не трудно. Свет должен был бы встать вверх ногами, если бы так называемых негодяев стали вешать так называемые порядочные люди.

Колло (Барреру). Когда ты опять приедешь в Клиши?

Баррер. Когда меня больше не будет навещать врач.

Колло. Не правда ли, над этим местом стоит звезда, под жгучими лучами которой твой спинной мозг совершенно высыхает.

Бильо. Скоро прелестные пальцы очаровательной Демальи вытащат его из футляра и повесят на спину, как косичку.

Баррер (пожимает плечами). Тс! Добродетельный не должен ничего об этом знать.

Бильо. Он бессильный масон.

(Бильо и Колло уходят).

Баррер (один). О, чудовище! — „Ты еще недостаточно долго желаешь смерти“. Эти слова должны были высушить язык тому, кто их сказал. — А я? — Когда сентябристы ворвались в тюрьмы, один из заключенных хватает нож, смешивается с толпой убийц, вонзает его в грудь священнику и спасен! — Кто может что-либо иметь против этого? — Смешаюсь ли я с толпой убийц, или войду в Комитет Общественного Спасения, возьму ли я нож гильотины или перочинный нож? Это совершенно такой же случай, только с несколько более запутанными подробностями; основные условия те же. — И если он может убить одного, он может убить и двух, и трех, и еще больше? Где предел этому? Сколько зерен составляют кучку? Два или три, четыре, сколько же? Поди сюда, моя совесть, поди сюда моя курочка, цып! цып! цып! поди сюда, вот корм... Но все же... разве я был заключенным? Я был под подозрением, это выходит одно и то же, смерть грозила мне наверняка. Поди сюда, моя совесть, мы еще прекрасно ладим друг с другом.

(Уходит).

КОНСЬЕРЖЕРИ

Лакруа, Дантон, Филиппо, Камилл.

Лакруа. Ты славно кричал, Дантон: если б ты ранее так же цеплялся за жизнь — теперь все было бы иначе. Не правда ли, когда смерть подходит так близко, и обдает скверным запахом из глотки, и становится все навязчивее?..

Камилл. Если б она еще насильовала и в борьбе и в корчах вырывала свою добычу из горячего тела! Но так, со всеми формальностями, словно на свадьбе со старой женщиной, когда составляют договор, когда вызывают свидетелей, когда произносят аминь и когда потом поднимают одеяло и она медленно влезает своим холодным телом!

Дантон. Будь эта борьба, в которой сцепляешься руками и зубами! Но мне кажется, будто я попал в мельницу, и мои руки и ноги медленно, систематически обламываются холодной физической силой. Быть умерщвленным так механически!

Камилл. И потом лежать одному, холодному, окоченелому, в сырых испарениях тления. Может быть, смерть мед-

ленно вымучивает жизнь из мускулов, может быть будешь разлагаться, находясь еще в сознании!

Филиппо. Успокойтесь, друзья мои, мы как растение безвременка, которое приносит семена по окончании зимы. Мы отличаемся от пересаживаемых цветов только тем, что мы после опыта немного воняем. Разве это так плохо?

Дантон. Поучительная перспектива! С одной навозной кучи на другую. Божественная теория классов, не правда ли? Из первого во второй, из второго в третий и т. д. Довольно с меня школьных скамеек, я, точно обезьяна, натер себе ими седалищные мозоли.

Филиппо. Чего же ты хочешь?

Дантон. Покоя.

Филиппо. Он в боге.

Дантон. В Ничто. Погрузись в то, что более спокойно, чем Ничто, и если величайший покой — бог, разве Ничто не бог? Но я атеист; проклятый закон! Нечто не может превратиться в Ничто! А я нечто, в этом-то и горе! — Творение так распространилось, все полно. Все преисполнено суетой. Ничто убило себя, творение — его рана, мы — его капли крови, мир — могила, в которой оно гниет. — Это звучит безумно, но все же в этом есть нечто истинное.

Камилл. Мир, это — вечный жид, Ничто — смерть, но оно невозможно. О! не мочь умереть, не мочь умереть! как поется в песне.

Дантон. Мы все заживо погребены и, как короли, положены в тройные или четверные гробы, под небом, в наших домах, в наших платьях и рубашках. Мы пятьдесят лет подряд царапаем крышку гроба. Да, если бы ктонибудь мог поверить в уничтожение! Тот был бы спасен. — В смерти нет надежды; она только более простое, а жизнь более сложное, организованное разложение, — в этом вся разница! — Но я привык как раз к этому роду разложения, чорт его знает, как я приспособлюсь к другому. — О, Жюли! Если б я ушел один! — Если б она оставила меня одного! — И если б я совсем развалился, совсем рассыпался бы — я стал бы только пригоршней измученной пыли, тогда каждый из моих атомов мог бы наконец найти у ней покой. Я не могу умереть, нет, я не могу умереть. Мы еще не побеждены. Мы должны кричать, или придется вырвать у меня из тела каждую каплю жизни.

Лакруа. Мы должны настаивать на наших требованиях, наши обвинители и комитеты должны предстать перед Трибуналом.

КОМНАТА

Фукье, Амар, Вулан.

Фукье. Я больше не знаю, что отвечать. Они требуют комиссию.

Амар. Негодяи в наших руках—вот возьми то, что тебе нужно. (Дает ему бумагу).

Вулан. Это их успокоит.

Фукье. Именно это нам и было нужно.

Амар. Только живее, чтоб свалить с плеч долой обузу и нам, и им.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ

Дантон. Республика в опасности, а у него нет инструкций! Мы обращаемся к народу, мой голос еще достаточно силен, чтобы произнести надгробное слово деспотам.—Повторяю: Мы требуем комиссию, мы желаем сделать важные сообщения. Я укреплюсь в крепости разума, я пробьюсь с помощью пушки правды, и уничтожу моих врагов!

(Знаки одобрения. Фукье, Амар и Вулан входят).

Фукье. Тише, именем республики, уважение к закону! Конвент постановляет: „В виду того, что в тюрьмах обнаруживаются признаки мятежа, в виду того, что жены Камиллы и Дантона подкупают народ и генерал Диллон намеревался бежать из тюрьмы и стать во главе заговорщиков для того, чтобы освободить обвиняемых; в виду того, наконец, что таковые сами пытались произвести возмущение и нанести оскорбления Трибуналу,—Трибунал уполномочивается вести дознание без перерыва и устранять от прений всякого обвиняемого, не оказывающего должного уважения закону“.

Дантон. Я спрашиваю присутствующих, оскорблялся ли нами Трибунал, народ или Конвент?

Многие голоса. Нет! Нет!

Камилл. Несчастные! Они хотят убить мою Люсиль!

Дантон. Будет день, когда правда станет известна. Это вижу, что на Францию обрушилось великое несчастье. Это диктатура; она изорвала свое покрывало, она высоко несет голову, она шагает по нашим трупам. (Указывая на Амара и Вулана). Вот они, трусливые убийцы, вот они, вороны Комитета Общественного Спасения! Я обвиняю Робеспьера, Сен-Жюста и их палачей в государственной измене. Они

хотят утопить республику в крови. Колес гильотинных повозок—большие дороги, по которым иностранцы войдут в сердце родины.—Долго ли еще следы свободы будут служить могилами? Вы хотите хлеба, а они бросают вам головы. Вы жаждете, а они заставляют вас лизать кровь со ступеней гильотины.

(Сильное движение среди слушателей, крики одобрения, голоса: „Да здравствует Дантон! Долой деспотов!“ Заключенных насильно уводят вон).

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДВОРЦОМ ПРАВОСУДИЯ

Толпа людей.

Несколько голосов. Долой деспотов! Да здравствует Дантон!

1-й гражданин. Да, это верно, головы вместо хлеба, кровь вместо вина!

Несколько голосов. Гильотина плохая мельница, а Самсон плохой хлебопек; мы хотим хлеба, хлеба!

2-й гражданин. Ваш хлеб сожрал Дантон! Его голова даст вам всем хлеба; он был прав.

1-й гражданин. Дантон был среди нас 10-го августа, Дантон был среди нас в сентябре. А где были люди, которые обвинили его?

2-й гражданин. И Лафайет был с вами в Версале, и все же был изменником.

1-й гражданин. Кто говорит, что Дантон изменник?

2-й гражданин. Робеспьер.

1-й гражданин. А Робеспьер сам изменник.

2-й гражданин. Кто это говорит?

1-й гражданин. Дантон.

2-й гражданин. У Дантона красивое платье, у Дантона красивый дом, у Дантона красивая жена, он купается в бургундском, ест дичь на серебряных тарелках и, когда пьян, спит с вашими женами и дочерьми.—Дантон был беден, как вы. Откуда у него все эти богатства?—Ему купило их Veto, для того, чтоб он спас ему корону.—Ему подарил их герцог Орлеанский для того, чтоб он украл ему корону.—Ему дали их иностранцы для того, чтоб он всех вас предал. Что есть у Робеспьера? У добродетельного Робеспьера! Вы все его знаете.

Все. Да здравствует Робеспьер! Долой Дантона! Долой изменника!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КОМНАТА

Жюли и мальчик.

Жюли. Конечно. Они его боятся. Они убьют его из страха. Ах, я видела его в последний раз; скажи ему, что я не могу его видеть таким. (Она дает ему прядь волос). Вот, отнеси ему это — и скажи ему, он уйдет не один. Он уж поймет меня, и потом скорей возвращайся назад. Я хочу прочесть его взгляд в твоих глазах.

УЛИЦА

Дюма. Гражданин.

Гражданин. Как можно после подобного допроса осудить на смерть столько невинных?

Дюма. В самом деле, это необычайно, но мужи революции обладают чутьем, которого не имеют остальные, и это чутье их не обманывает.

Гражданин. Это чутье тигра. — У тебя есть жена?

Дюма. Скоро я буду говорить, что она у меня была.

Гражданин. Так это правда?

Дюма. Революционный Трибунал вынесет постановление о нашем разводе; гильотина разлучит нас за столом и в постели.

Гражданин. Ты чудовище!

Дюма. Трус! Ты восхищаешься Брутом?

Гражданин. От всей души!

Дюма. Разве необходимо быть непременно римским консулом и иметь возможность закутать голову тогой, чтобы пожертвовать самое дорогое своей родине? Я вытру себе глаза рукавом своего красного фрака; в этом вся разница.

Гражданин. Это ужасно.

Дюма. Полно, ты меня не понимаешь. (Они уходят).

КОНСЬЕРЖЕРИ

Лакруа и Эро на одной кровати, Дантон и Камилл на другой.

Лакруа. Так отрастить себе волосы и ногти, право, стыдно.

Эро. Последите немножко за собой, вы чихаете мне в лицо песком.

Лакруа. И не наступайте же мне так на ноги, милейший, у меня мозоли.

Эро. У вас еще и паразиты к тому же.

Лакруа. Ах, если б я только мог освободиться от червей!

Эро. Ну, спокойной ночи, нам нужно попробовать, как мы будем ладить друг с другом, у нас мало места. — Не царапайте меня во сне вашими ногтями! — Ну, вот, не натягивайте же так простыни, там внизу холодно.

Дантон. Да, Камилл, завтра мы будем дырявыми башмаками, которые бросают в подол нищенке-земле.

Камилл. Бычачья кожа, из которой, согласно Платону, ангел вырезал себе башмаки, чтоб топтать по земле. Так оно и есть... Моя Люсиль!

Дантон. Успокойся, мой мальчик!

Камилл. Разве я могу? Ты думаешь, Дантон, что я могу? Они не смеют наложить на нее рук, свет красоты, изливаемый ее нежным телом, неугасим. Нет, земля не дерзнула бы засыпать ее, она образовала бы свод над нею, могильная влага, как роса, сверкала бы на ее ресницах, кристаллы, как цветы, выросли бы вокруг ее тела, и светлые ручьи стали бы ее убаюкивать.

Дантон. Спи, мой мальчик, спи.

Камилл. Слушай, Дантон, говоря между нами, умереть так жалко. Но ничто не поможет. Я хочу похитить у жизни последние взгляды из ее прекрасных глаз, я хочу, чтоб мои глаза были открыты.

Дантон. Они останутся у тебя навсегда открытыми. Самсон никому не закрывает глаз. Сон милосерднее. Спи, мой мальчик, спи.

Камилл. Люсиль, твои поцелуи бредят на моих губах, каждый поцелуй становится сном, мои глаза закрываются и крепко замыкают его.

Дантон. Неужели часы не уймутся? Каждым тик-так они сдвигают стены все уже вокруг меня, покуда они не станут тесными, как гроб. — Однажды, ребенком, я прочел подобный рассказ — у меня волосы встали дыбом. — Да,

ребенком! Стоило труда выкармливать меня таким большим и одевать потеплее. Только могильщикам работа!—Мне кажется, что я уже пахну. Мое милое тело, я хочу зажать себе нос, вообразить, что ты—вспотевшая от танцев вонючая баба, и буду говорить тебе любезности. Мы, бывало, не раз проводили вместе время.—Завтра ты будешь разбитой скрипкой, музыка уже сыграна. Завтра ты будешь пустой бутылкой, вино выпито, но я не пьян и трезвым ложусь в постель. Счастливые люди, которые еще могут опьяняться. Завтра ты будешь протертыми штанами, и тебя бросят в шкаф, и, сколько ни воняй, моль тебя съест.—Ах, это бесполезно. Конечно, умирать жалко. Смерть передразнивает рождение, умирая, мы так же беспомощны и наги, как новорожденные дети. Правда, мы получим саван вместо пеленок. Чему это поможет? Мы в гробу можем так же пищать, как и в люльке. Камилл! Он спит (наклоняясь над ним), сновидения играют на его ресницах. Я не хочу смахивать с его глаз золотых росинок сна. (Он поднимается и идет к окну). Я уйду не один, благодарю тебя, Жюли.—И все же я хотел бы умереть иначе, совсем безмятежно, так, как падает звезда, так же, как звук изживает себя, зацеловывает самого себя своими устами, так же, как луч света тонет в прозрачных волнах.—Как мерцающие слезы, брызнули звезды в ночи, велика должна быть скорбь в глазах, из которых они каплют.

Камилл. О! (Он поднялся и простирает руки к потолку).

Дантон. Что с тобой, Камилл?

Камилл. О, о!

Дантон (трясет его). Ты хочешь ногтями сорвать вниз потолок?

Камилл. Ах ты, ты, о, держи меня, говори, ты!

Дантон. Ты дрожишь всем телом. Пот выступил у тебя на лбу.

Камилл. Это вот ты, это я; так—это моя рука! Да, теперь я прихожу в себя. О, Дантон, это было ужасно!

Дантон. Но что же?

Камилл. Я лежал, как в полудремоте. Вдруг потолок исчез, и луна спустилась в камеру, совсем близко, вплотную, моя рука касалась ее. Небесный свод со своими светилами опустился; я задевал его, я ошупывал звезды, я метался, как тонущий человек подо льдом. Это было ужасно, Дантон.

Дантон. Лампа бросает круглый свет на потолок, это ты и видел.

Камилл. Ну, пусть себе; не много нужно, чтоб лишить человека рассудка. Безумие хватает меня за волосы. (Встает). Я не хочу больше спать, я не хочу стать сумасшедшим. (Берется за книгу).

Дантон. Что ты берешь?

Камилл. „Ночные размышления“.

Дантон. Видно, ты хочешь умереть до срока? Я возьму „Девственницу“. Я хочу ускользнуть из жизни не как с церковной скамьи, а как с постели сестры милосердия. Это продажная девка; распутничает с целым миром.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КОНСЬЕРЖЕРИ

Тюремщик, два извозчика с телегами, женщины.

Тюремщик. Кто тебя звал сюда приехать?

1-й извозчик. Меня никто еще не звал „Сюда Приехать“—это забавное имя.

Тюремщик. Дурак, кто дал тебе приказ сюда приехать?

1-й извозчик. Я не получал никакого приказа ¹⁾, ничего кроме десяти су за голову.

Тюремщик. Негодяй хочет лишить меня хлеба.

1-й извозчик. Что ты называешь своим хлебом? (Указывая на окна заключенных). Это снесь червей.

2-й извозчик. Малые ребята тоже черви и хотят получить свою долю. Эх, плохо дело с нашим ремеслом, но мы все же самые лучшие извозчики.

1-й извозчик. Как так?

2-й извозчик. Кто самый лучший извозчик?

1-й извозчик. Тот, кто везет дальше и быстрее всех.

2-й извозчик. Ну, а кто же везет дальше вывозящего из мира, и кто едет быстрее проделывающего это в четверть часа? Отсюда до Площади Революции четверть часа ровнехонько.

Тюремщик. Живо там, каналы! Ближе к воротам; дайте дорогу, девицы.

(Они сторонятся).

1-й извозчик. Оставайтесь на месте! Девушек не объезжают кругом, а едут как раз в самую середину.

¹⁾ Непереводимая игра слов. В оригинале: „Wer hat dir die *Bestallung* dazu gegeben?“ (Кто тебя нанял?)—„Ich habe keine *Stallung* dazu gekriegt, nichts, als...“ (Я не получил никакой конюшни, ничего кроме и т. д.). *Red.*

2-й извозчик. Хе! я думаю, ты въедешь туда с повозкой и клячами, ты найдешь накатанные колеи, но тебе придется выдержать карантин после возвращения.

Женщина. Мы ждем старых потребителей.

2-й извозчик. Что ж вы думаете, что моя повозка блудилище? Это приличная повозка, она отвозила короля и всех знатных господ на пир.

Люсиль (входит. Она садится на камень под окнами заключенных). Камилл, Камилл! (Камилл появляется у окна). — Слушай, Камилл, ты смешишь меня своей длинной каменной одеждой и железной маской на лице. Ты не можешь наклониться? Где твои руки? — Я приманю тебя, милая птичка. (Поет):

Две ярких звездочки на небе
Горят светлее, чем луна,
Одна у милой над окошком,
Другая озаряет дверь.

Иди, иди же, мой друг! Тихонько вверх по лестнице, они все спят. Луна уж давно помогает мне ждать. Но ты не можешь выйти в ворота, это невыносимая мука. Это слишком злая шутка, перестань. Ты и не шевелишься совсем, почему ты молчишь? Ты пугаешь меня. — Слушай! Люди говорят, что ты должен умереть, и делают при этом такие серьезные лица. — Умереть! Меня смешат эти лица. Умереть? Что это за слово? Объясни мне, Камилл. Умереть! Я хочу обдумать. Вот, вот оно. Я хочу догнать его, поди сюда, милый друг мой, помоги мне его поймать, поди сюда! Поди! (Она убегает).

Камилл (зовет). Люсиль! Люсиль!

КОНСЬЕРЖЕРИ

Дантон у окна, которое выходит в соседнюю комнату, Камилл, Филиппо, Лакруа, Эро.

Дантон. Ты успокоился теперь, Фабр?

Голос (изнутри). При смерти.

Дантон. Знаешь, что мы теперь будем делать?

Голос. Ну?

Дантон. То, что ты делал всю свою жизнь — *des vers*¹⁾.

Камилл (про себя). Безумие таилось в ее глазах. Уже не мало людей сошло с ума, так водится на свете. Что мы можем поделаться? Мы умываем руки. Да оно и лучше так.

¹⁾ Vers — стихи, vers — черви.

Дантон. Я оставляю все в страшном беспорядке. Никто не умеет управлять. Дело могло бы, пожалуй, итти, если бы я завещал Робеспьеру моих девок, а Кутону мои икры.

Лакруа. Мы бы превратили свободу в девку.

Дантон. А чем же она была? Свобода и девка самые космополитические вещи под солнцем. Теперь она будет прилично блудить в супружеской постели аррасского адвоката. Но я думаю, что она окажется для него Клитемнестрой; я не дам ему и шестимесячной отсрочки, я потащу его за собой.

Камилл (про себя). Да пошлет ей небо радостное помешательство. Обычные помешательства, которые люди окрестили здравым смыслом, невыносимо скучны. Счастливейший человек был тот, который мог вообразить себя богом отцом, сыном и святым духом.

Лакруа. Ослы будут орать: „Да здравствует республика“ при нашем проходе.

Дантон. Что в том? Всемирный потоп революции может выбросить наши тела куда угодно. Нашими окаменелыми костями всегда можно будет пробить черепа королям.

Эро. Да, если только найдется Самсон для наших челюстей.

Дантон. Они Каины.

Лакруа. То, что Робеспьер — Нерон, лучше всего доказывается тем, что он никогда не был любезнее с Камиллом, чем за два дня до его ареста. Не так ли, Камилл?

Камилл. Да пусть себе, какое мне до этого дело? (Про себя). Какую очаровательную вещь создала она из безумия. Почему я должен уйти теперь? Мы бы вместе с ней смеялись ему, качали бы его и целовали.

Дантон. Когда история вскрыет наши могилы, деспотизм еще сможет задохнуться от смрада наших трупов.

Эро. Мы так непрерывно смердели при жизни. Это ведь фразы для потомства, не правда ли, Дантон? Нас они в сущности не касаются.

Камилл. Он делает такое лицо, будто ему предстоит окаменеть и быть откопанным потомством, как древность. Стоит ли труда корчить рожи, и румяниться, и говорить с хорошим произношением; нам следовало бы наконец снять маски, мы бы тогда увидели, как в комнате, увешанной зеркалами, лишь одну древнюю, беззубую, неистребимую баранью голову, ни больше, ни меньше. Различия не так велики, мы все негодяи и ангелы, дураки и гении, и все это зараз; эти четыре вещи находят достаточно места в одном

теле, они не так обширны, как обычно думают. Спать, переваривать пищу да рожать детей—это все делают; все остальное—лишь вариации в различных тонах на ту же тему. Так стоит ли становиться на цыпочки и корчить рожи, стоит ли стесняться друг друга! Мы все объелись за одним столом, и у нас схватки в животах, так чего же вы закрываете лица салфетками? Орите себе и визжите, сколько душе угодно. Только не стройте столь добродетельных, и столь насмешливых, и столь героических, и столь гениальных ужимок, мы же знаем друг друга, пожалейте труда.

Эро. Да, Камилл, мы сядем рядом и будем кричать; нет ничего глупее, чем стискивать губы, когда что-нибудь болит.—Греки и боги кричали, римляне и стойки корчили героические рожи.

Дантон. Те и другие были эпикурейцами. Они создавали себе очень приятное чувство собственного достоинства. Вовсе не так плохо завернуться в тогу и оглядываться, длинную ли тень ты отбрасываешь? Чего нам жеманиться? Не все ли равно, будем ли мы носить лавровые или розовые венки; прикроемся ли виноградным листиком или будем наги?

Филиппо. Друзья мои, не нужно стоять слишком высоко над землей, чтобы ничего не замечать из всей путаницы колебаний и мерцаний и чтобы видеть только несколько великих божественных линий. Существует ухо, для которого оглушающие нас разноголосые крики и вопли являются волнами гармонии.

Дантон. Да, но мы—жалкие музыканты, а наши тела—инструменты. Неужели же безобразные звуки, которые извлекаются из них, существуют только для того, чтобы, уносясь все выше и выше, наконец умереть в божественном ухе, тихо угасая, как блаженный вздох?

Эро. Разве мы поросята, которых для барского стола засекают на смерть розгами, чтоб они были вкуснее?

Дантон. Разве мы дети, которых жарят в раскаленных объятиях этого мира, как в объятиях Молоха, и щекочат лучами света, чтобы боги радовались их смеху?

Камилл. Разве златоглазый эфир—чаша с золотыми рыбками, стоящая на столе блаженных богов, и блаженные боги вечно смеются, и рыбы вечно умирают, и боги вечно радуются причудливости предсмертной борьбы?

Дантон. Мир—это хаос. Ничто—мировой бог, который должен родиться.

(Входит тюремщик).

Тюремщик. Господа, вы можете ехать, кареты ожидают у дверей.

Филиппо. Спокойной ночи, друзья мои, спокойно укроемся большим одеялом, под которым все сердца утасуют и все глаза истлевают. (Они обнимают друг друга).

Эро (берет Камилла под руку). Радуйся, Камилл, нам предстоит прекрасная ночь. Облака стоят на тихом вечернем небе, как потухающий Олимп с бледнеющими, исчезающими ликами богов.

КОМНАТА

Жюли. Народ пробежал по переулку, теперь все стихло. Я бы ни одной минуты не хотела заставить его ждать. (Она вынимает флакон). Приди, дражайший священник, аминь которого благословит нас идти ко сну. (Она подходит к окну). Так хорошо проститься; мне остается только затворить еще за собою дверь. (Она пьет).—Хотелось бы вечно стоять вот так.—Солнце село, черты земли были так резки в его свете, а теперь ее лик безмятежен и строг, как лик умирающего.—Как красиво играет закат у нее на лбу и щеках.—Все бледней и бледней становится она, как покойница несется она назад в потоке эфира; неужели же ни одна рука не схватит ее за золотые кудри, не вытащит из потока и не похоронит?—Я уйду тихонько. Я не поцелую ее, чтоб ни одно дыхание, ни один вздох не нарушил ее дремоты.—Спи, спи.

(Умирает).

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Повозки подъезжают и останавливаются перед гильотиной. Мужчины и женщины поют и танцуют Карманьолу. Заключенные затягивают Марсельезу.

Женщина с детьми. Пустите! Пустите! Дети плачут, они голодны. Я должна дать им посмотреть, чтобы они унялись. Пустите!

Женщина. Послушай, Дантон, теперь ты можешь распутничать с червями.

Другая. Эро, я закажу себе парик из твоих прекрасных волос.

Эро. У меня недостаточно леса для такой лишенной растительности Венераиной горы.

Камилл. Проклятые ведьмы! Вы еще будете кричать: горы, падите на нас!

Женщина. Гора пала на вас, или, скорее, вы упали с нее.

Дантон. Тише, мой мальчик, ты докричался до хрипоты.

Камилл (дает деньги извозчику). На, возьми, старый Харон, твоя повозка хороший поднос. Господа, я хочу быть поанным первым. Это классический пир, мы возлежим на своих местах и страхи́ваем несколько капель крови, как возлияние. Прощай, Дантон. (Он входит на помост, заключенные следуют за ним один за другим. Дантон входит последним).

Лакруа (к народу). Вы убиваете нас в тот день, когда вы утратили разум; вы убьете их в тот день, когда вновь обретете его.

Несколько голосов. Это уж говорилось однажды, как скучно!

Лакруа. Тираны сломают себе шею на наших могилах. Эро (Дантону). Он считает свой труп парником свободы.

Филиппо (на эшафоте). Я прощаю вас; я желаю, чтоб ваш смертный час не был горше моего.

Эро. Я так и думал, что он еще раз полезет за пазуху и покажет стоящим внизу людям, что у него чистое белье.

Фабр. До свидания, Дантон. Я умираю вдвойне.

Дантон. Прощай, дружище. Гильотина лучший врач.

Эро (желая обнять Дантона). Ах, Дантон, я даже не могу выдумать шутки. Пора.

(Палач отталкивает его).

Дантон (палачу). Ты хочешь быть суровее, чем смерть? Разве ты можешь помешать нашим головам поцеловаться на дне корзины?

УЛИЦА

Люсиль. В этом как будто есть что-то серьезное все же. Мне нужно обдумать. Я начинаю что-то понимать. Умереть... Умереть... Ведь все имеют право жить, все, маленькая мошка вон там, птица. А почему же он? Поток жизни должен был бы остановиться, если бы хоть одна капля пролилась. На земле должна была бы остаться рана от удара.—

Все движется, часы ходят, колокола звонят, люди бегают, вода струится и все дальше, дальше туда!.. Нет, это не может случиться, нет, я сяду на землю и буду кричать, так, чтоб все в испуге остановилось, так, чтоб больше ничего не шевелилось. (Она садится на землю, покрывает себе глаза и издает крик. После паузы она поднимается). Это не помогает. Все как прежде, дома, переулочек, ветер дует, облака ползут. Мы должны терпеть.

(Несколько женщин проходят переулочком).

1-я женщина. Это красивый мужчина.

2-я женщина. Когда он на празднике Конституции стоял на триумфальной арке, я тогда же подумала, что он должен быть хорош на гильотине, тогда же подумала. Это было предчувствие.

3-я женщина. Да, нужно видеть людей при всяких условиях; очень хорошо, что смерть становится такой публичной. (Они проходят мимо).

Люсиль. Мой Камилл! Где мне тебя искать?

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Два палача возятся на гильотине.

1-й палач (стоит на гильотине и поет):

Когда, идя домой,
Луна глаз шурит свой.

2-й палач. Эй, холла! Скоро ты там?

1-й палач. Сейчас, сейчас. (Поет):

Бледный луч луна в окошко бросит,
„Где тебя так долго дьявол носит?“

Так! теперь куртку. (Они уходят, распевая):

Когда, идя домой,
Луна глаз шурит свой.

Люсиль (входит и садится на ступени гильотины). Я сажусь к тебе на колени, о, тихий ангел смерти. (Поет):

Есть жнец, зовется смертью он,
Он непреклонен и силен.

О, милая люлька, убаюкавшая и усыпившая моего Камилла, задушившая его под своими розами! О, погребальный

колокол, ты погрузил моего Камилла во гроб своим голосом.
(Поет):

И сотни повергает в прах
Его серпа ужасный взмах.

(Входит патруль).

Гражданин. Эй, кто здесь?

Люсиль (после размышления и словно найдя решение,
внезапно). Да здравствует король!

Гражданин. Именем республики!

(Сторожа окружают ее и уводят с собой).

Перевела с немецкого

М. Рыжкина.

ВОЙЧЕК

ТРАГЕДИЯ

WOZZEK

1836

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ВОЙЧЕК.
МАРИ.
ТАМБУРМАЖОР.
КАПИТАН.
ДОКТОР.
АНДРЕС.
УНТЕР-ОФИЦЕР.
МАРГАРИТА.
КЭТЭ.
БАЛАГАННЫЙ ЗАЗЫВАЛА.
ЕВРЕЙ.
ХОЗЯИН.
СТАРИК.
СТАРУХА.
ЮРОДИВЫЙ.
1-й ПОДМАСТЕРЬЕ.
2-й ПОДМАСТЕРЬЕ.
1-й ГОРОЖАНИН.
2-й ГОРОЖАНИН.
1-я ДЕВУШКА.
2-я ДЕВУШКА.
1-й РЕБЕНОК.
2-й РЕБЕНОК.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ.

Лошадь, обезьяна, танцующий ребенок, врач, судья, студенты, парни
и девушки, солдаты, судейский сторож, дети, народ.
Солдатская зоря, скрипки, шарманки.

КОМНАТА КАПИТАНА

Капитан. Войчек.

(Капитан сидит на стуле. Войчек его бреет. Утро).

Капитан. Тише, Войчек, тише! Всему свое время! Мне страшно!—Что же я буду потом делать с оставшимися десятью минутами, если ты сегодня кончишь слишком рано?—Войчек! Подумай-ка! Тебе осталось добрых тридцать лет жизни! Тридцать! Это составляет 360 месяцев, а дней-то, часов, минут! И что ты только будешь делать с этой пропастью времени? Распредели его, Войчек!

Войчек. Так точно, господин капитан.

Капитан. Мне становится страшно за мир, когда я думаю о вечности. Работа, Войчек, работа! Вот что вечность! Это вечно! Ты понимаешь это. А на поверку выходит и это не вечно, и это только миг, да, только миг!—Войчек, меня страх берет, когда я думаю, что мир оборачивается вокруг оси в один день! Какая трата времени! К чему это приведет? Войчек, я больше не могу видеть мельничного колеса,—я впадаю в меланхолию.

Войчек. Так точно, господин капитан.

Капитан. Войчек, ты кажешься всегда таким загнанным. Хороший человек так не поступает, хороший человек, у которого совесть чиста!—Скажи же что-нибудь, Войчек.—Какая сегодня погода?

Войчек. Плохая, господин капитан, плохая! Ветер.

Капитан. Я уж чувствую что-то пронзительное на улице! Подобный ветер производит на меня впечатление мыши. (Лукаво). Я думаю, это у нас с юго-севера.

Войчек. Так точно, господин капитан.

Капитан. Ха! ха! ха! юго-север! Ха! ха! ха! О, ты глуп, отвратительно глуп! (Растроганно). Войчек, ты хороший человек, но (с достоинством) ты лишен нравственности! Нравственности, это значит, когда человек бывает нрав-

ственным, понимаешь? Это хорошее слово. У тебя ребенок без благословения церкви, как говорит наш высокочтимый гарнизонный священник: без благословения церкви! Это не мое выражение.

Войчек. Господин капитан, милосердый господь не посмотрит на то, было ли сказано аминь над бедным малышом, прежде чем его сделали. Господь сказал: пустите детей приходить ко мне.

Капитан. Что ты там говоришь? Что это за смешной ответ? Он совершенно смутил меня своим ответом. Когда я говорю он, то я подразумеваю тебя, тебя...

Войчек. Мы люди бедные. Видите ли, господин капитан, деньги, деньги! У кого нет денег! Пусть-ка он произведет себе подобного на свет нравственным образом! Ведь и мы из плоти и крови. Наш брат несчастен и на этом, и на том свете. Я думаю, если мы попадем на небо, нас заставят помогать делать гром.

Капитан. Войчек, ты лишен добродетели, ты не добродетельный человек. Плоть и кровь? Когда я лежу на окне после дождя и смотрю этак на белые чулочки, что перепрыгивают через канавы — чорт побори Войчек — тогда меня забирает любовь! Ведь и я из плоти и крови. Но, Войчек, добродетель, добродетель! Как же мне тогда убить время? Я всегда говорю себе: ты добродетельный человек (рас-троганно), хороший человек, хороший человек.

Войчек. Да, господин капитан, добродетель. Я не так выразился. Видите ли, мы, маленькие люди, у нас нет добродетели! Уж такая наша натура. Но если бы я был барином и имел бы шляпу, и часы, и *anglaise*, и мог бы говорить по-благородному, я бы уж был добродетельным. Это, должно быть, хорошая штука — добродетель, господин капитан. Но я бедный малый.

Капитан. Ладно, Войчек. Ты хороший человек, хороший человек. Но ты думаешь слишком много, это изнуряет: ты вечно такой загнанный, и я совсем умаялся от разговора. Теперь ступай, да не беги так, иди не спеша, совсем не спеша, вдоль по улице.

ПОЛЕ. ВДАЛИ ГОРОД

Войчек и Андрес вырезают палки в кустарнике. Закат солнца.

Войчек. Да, Андрес, в ложине, там, за травой, где растет трут, там по вечерам катается голова. Однажды один

человек поднял ее, он думал, это — еж. Прошло три дня и три ночи, и он лежал на стружках. (Тихо). Андрес, это были масоны! Я узнал! Масоны!.. Тише!

Андрес (поет): Два косых зайчишки
Обедали свежие кочки.

Войчек. Тише! Тут что-то творится! Возле нас! Под нами! Земля качается у нас под ногами: масоны! Как они роют. Прочь!

Андрес. Обедали свежие кочки
Да кочерыжки.

Войчек. Парень, да что ты, крот? Уши тебе песком забило? Что-то шевелится позади меня, подо мной. (Топают об землю). Пусто, ты слышишь? Все пусто там внизу. Масоны! Не оборачивайся назад! (Тащит его в кусты).

Андрес. Я боюсь...

Войчек. Все так странно тихо. Хочется затаить дыхание — Андрес!

Андрес. Что?

Войчек. Говори что-нибудь. (Озирается). Андрес! Как светло. Пламя охватывает небо, и гул несется вниз, словно трубный глас. Как тянет вверх!

Андрес. Войчек, ты все еще слышишь?

Войчек. Тихо, все тихо, словно мир умер.

Андрес. Слышишь? Они там барабанят. Нам нужно идти.

КОМНАТА МАРИ

Мари со своим ребенком у окна. Маргарита стоит снаружи. Музыканты трубят зорю, проходят мимо. Тамбурмажор впереди. Прозрачные сумерки.

Мари (подбрасывая на руках ребенка). Гоп, малыш! Тра-ра-ра! Слышишь? Вот они идут!

Маргарита. Что за человек — словно дерево!

Мари. Он стоит на ногах, как лев!

(Тамбурмажор кланяется).

Маргарита. Э, какие у вас ласковые глаза, госпожа соседка! Мы к этому не привыкли.

Мари (поет): Солдаты парни удалцы,
Сверкают издалика.

Маргарита. Ваши глаза все еще блестя.

Мари. Ну, так это ж! Снесите ваши глаза к жидам и дайте их почистить, может и они еще заблестят так, что их можно будет продать за две пуговицы.

Маргарита. Что? Вы? Вы? Госпожа девица! Я честная особа, а вы видите сквозь семь пар кожаных штанов!

Мари. Сволочь! (Захлопывает окно). Пойдем, мой мальчик! И чего только людям нужно! Хоть ты и сын потаскушки, а все-таки радуешь мать своим неблагородным лицом! Гоп! гоп! (Поет):

Эх, о чем толковать,
Как начну распевать—
Эйю попейю, малыш, юххе!
Весь мир для меня нипочем!
Эй, Ханс, заложи-ка шестерку коней
И досыта их накорми.
Кони сена не едят
И воды пить не хотят,
Пьют они одно лишь вино, юххе!
Пьют они одно лишь вино.

Кто там? Это ты Франц? Входи!

Войчек. Не могу, надо на перекличку.

Мари. Ты резал палки для майора?

Войчек. Да, Мари.

Мари. Что с тобой, Франц?

Войчек (таинственно). Мари, что-то опять случилось! У меня такие предчувствия... Такие! Разве не сказано: Смотри, поднялся дым над страной, как дым от печи?

Мари. Стыдно!

Войчек. Что-то шло за мной до самого города. Что ж это будет? Я знаю! Масоны! Мне нужно итти.

Мари. Франц!

Войчек. Сегодня вечером, на балаганах. Я кой-что скопил.
(Уходит).

Мари. Муж! Как околдован. Он даже не взглянул ни разу на своего ребенка. Он еще спятит от размышлений. Что ты так затих, малыш? Боишься? (Несет ребенка в люльку). Становится так темно, кажется, будто ослепла. А то всегда словно фонарь светит в комнату. Я не выдержу. Мне страшно. (Уходит).

Балаганы. Свет. Народ.

Перед ближайшим балаганом слева зазывала, его жена, одетая в штаны, ряженая обезьяна. Посреди старый поющий шарманщик и танцующий ребенок. Справа Войчек и Мари пробираются вперед, за ними тамбурмажор и унтер-офицер останавливаются, глядя на них. Шарманки, звонки, крики. Мерцающие свечи.

Старик (поет): Мы все умрем однажды,
Известно это нам.

Войчек. О, музыка!

Мари. Сколько свету!

Войчек. А, Мари! Сплошь черные кошки с горящими глазами. Что за вечер!

Зазывала. Господа! Господа! Глядите! Существо, такое, каким его создал бог—ничто, совершенное ничто! Глядите теперь, что делает искусство! Ходит на двух ногах, носит куртку и штаны и при сабле! Хо! Кланяйся! Ни дать ни взять—барон! Сделай воздушный поцелуй! (Обезьяна трубит). Молодчик музыкален! Господа, здесь показывается астрономическая лошадь и маленькая птичка с Канальских островов. Фавориты всех коронованных особ. Представления начнутся. Сейчас начало начала. Потом немедленно последует commencement commencement'a. (Он отдергивает занавес перед балаганом и открывает решетку).

Войчек. Хочешь?

Мари. Пожалуй. Это должно быть славная штука. Сколько у молодца кистей! А женщина-то в штанах.
(Они входят внутрь).

Тамбурмажор. Стой! Вот! Видишь ее?

Унтер-офицер. Вот так красotka!

Тамбурмажор. Чорт! Для размножения любителей искусств и разведения тамбурмажоров.

Унтер-офицер. Как она держит голову! Кажется, будто черные волосы тянут ее назад, как груз. А глаза-то!

Тамбурмажор. Словно глядишься в колодец или печную трубу. Живо! За ней.
(Они входят).

Внутренность балагана.

Зазывала (выводит лошадь). Покажи свой талант! Покажи свою скотскую понятливость. Пристыди человеческое общество! Господа, это животное, которое вы здесь видите, с хвостом назад и на четырех копытах, состоит членом всех ученых обществ, профессором в нашем университете, где студенты учатся у него ездить верхом и драться. Это оно делает обычным разумением. Подумай теперь сугубым *raison*. Что ты делаешь, когда думаешь сугубым *raison*? Есть ли там среди ученого *société* осел? (Лошадь кивает головой). Вы теперь видите сугубый *raison*! Это физиономист. Да, это не скотски глупый индивидуум. Это особа. Человек, скотообразный человек, и все же животное—*bête*. (Лошадь ведет себя непристойно). Так-то ты устыжаешь человеческое *société*? Видите ли, скотина, это все же природа! Несовершенная природа! Поступайте подобно ей. В противном

случае это в высокой степени опасно, спросите врача.—Это означало—человек, будь естественен. Ты создан из праха, земли, навоза, смеешь ли ты хотеть быть больше, чем прах, земля, навоз? Посмотрите, какая понятливость: она может делать вычисления и все же не может считать по пальцам, почему? Не может только высказаться, объясниться, это превращенный человек! Скажи господам, который час? У кого из господ и дам есть часы, часы?

Унтер-офицер. Часы? (Вытаскивает важно и неторопливо часы из кармана). Вот, сударь! (Он перешагивает через скамейки и протягивает их зазывале).

Мари. Я хочу посмотреть на это. (Она лезет на переднее место).

Унтер-офицер (помогает ей). Прелестнейшая!

КОМНАТА МАРИ

Мари сидит, держа на коленях ребенка, в руках осколок зеркала. Глядится в зеркало. Полдень.

Мари. Как сверкают камни! Какие они? Что он сказал?.. Спи, малыш! Зажмурь глазки крепко! (Ребенок закрывает глаза руками). Еще крепче! Лежи так! Совсем тихо, не то бука возьмет. (Поет):

Девушка, двери закрой,
Близко цыган лихой,
За руку он возьмет,
В табор свой уведет.

(Снова смотрится в зеркало). Это, конечно, золото! Пойдет ли мне убор, когда я буду танцевать? У нашего брата есть только маленький уголок в мире и осколок зеркала, а все-таки у меня такие же красные губы, как у важных дам с их зеркалами от пола до потолка и красивыми господами, которые им целуют руки! Горемычная я красотка!—(Ребенок поднимается). Смирно, малыш, закрой глаза! Вот ангелок сна бежит по стене! (Она наводит зайчика зеркалом). Закрой глазки, не то он заглянет в них так, что ты ослепнешь. (Сзади входит Войчек. Она вскакивает и схватывается руками за уши).

Войчек. Что это у тебя?

Мари. Ничего!

Войчек. Но в твоих пальцах блестит.

Мари. Сережка. Нашла.

Войчек. Я еще никогда не находил ничего такого. Две за раз.

Мари. Разве я девка?

Войчек. Ладно, Мари.—Как малыш спит! Возьми его под мышки, ему не удобно на стуле. Бедные мы люди! Вот еще деньги, Мари. Жалованье и кой-что от моего капитана.

Мари. Спасибо, Франц.

Войчек. Я должен идти. Сегодня вечером, Мари. До свидания.

(Уходит).

Мари (после паузы). Все же я скверный человек! Я готова зарезаться.—Ах, что за мир! Все идет к чорту, и мужчина, и женщина.

КОМНАТА ДОКТОРА

Войчек. Доктор. После обеда.

Доктор. Что я узнал, Войчек?! И это человек своего слова?

Войчек. Что же такое, господин доктор?

Доктор. Я видел, Войчек! Ты мочился на улице, мочился на стену, как собака! А я тебе даю два гроша ежедневно! Войчек, это гадко! Мир становится гадким, очень гадким.

Войчек. Но, господин доктор, если природа требует.

Доктор. Природа требует! Природа требует! Разве же я не доказал, что *musculus constrictor vesicae* подчиняется воле? Природа! Войчек, человек свободен, в человеке индивидуальность проявляется в свободе. Быть не в силах сдерживать мочу! (Качает головой, закладывает руки за спину и ходит взад и вперед). Ты уже съел свой горох, Войчек?—Революция происходит в науке! Я взрываю ее на воздух! Состав мочи 0,10 солянокислый аммоний, гипероксид. Войчек, не нужно ли тебе снова мочиться? Войди-ка в дом и попробуй!

Войчек. Я не могу, господин доктор.

Доктор (вне себя). А мочиться на стену!? У меня в руках твое письменное согласие.—Я видел, вот этими глазами видел! Я как раз высунул из окна нос и дал солнечным лучам осветить его внутренность, чтоб сделать наблюдение над чиханием. (Наступает на него). Нет, Войчек. Я не серджусь. Гнев вреден, он не научен. Я спокоен, совсем спокоен. Мой пульс, как обычно—шестьдесят. Я говорю с тобой с величайшим хладнокровием. Избави бог! Кто же станет сердиться на человека! На человека! Если б это был еще протей, который может подохнуть!.. Но, Войчек, ты все же не должен был мочиться на стену.

Войчек. Видите ли, господин доктор, иной раз бывает у человека такой характер, такое телосложение... А с природой это совсем другое! Видите, с природой (он щелкает пальцами) это что-то такое, ну, как сказать, например...

Доктор. Войчек, ты опять философствуешь!

Войчек (доверчиво). Господин доктор, случалось ли вам наблюдать сугубую природу? В полдень, когда солнце стоит над головой, кажется, будто весь мир растворен в огне. Тогда некий ужасный голос говорил мне!

Доктор. Войчек, у тебя aberratio.

Войчек (приставляет палец к носу). Трут, господин доктор. В этом-то вся штука! Видали ли вы, какими узорами растет на земле трут? Кто может их разгадать!

Доктор. Войчек, у тебя великолепнейшее aberratio mentalis partialis! Вторая разновидность. Очень хорошо выраженная. Войчек! Ты получишь прибавку. Вторая разновидность. Навязчивая идея при обычном разумном состоянии. Ты попрежнему исполняешь то, что всегда? Бреешь своего капитана?

Войчек. Так точно.

Доктор. Ешь свой горох?

Войчек. Так точно.

Доктор. Ты любопытный casus, Войчек! Ты получишь прибавку. Будь молодцом. Покажи-ка свой пульс. Да.

КОМНАТА МАРИ

Мари. Тамбурмажор. Полдень.

Тамбурмажор. Мари!

Мари (глядя на него, одобрительно). Мужчина!—Поди-ка сюда!—Грудь, как у быка, и львиная грива. Нет такого другого.—Я горжусь перед всеми женщинами.

Тамбурмажор. А когда по воскресеньям я надеваю большой султан и белые перчатки, чорт побери! Принц всегда говорит: Парень, ты молодчина!

Мари (насмешливо). Толкуй! (Подходит к нему). Мужчина!

Тамбурмажор. И ты тоже красotka! Тысяча чертей, мы начнем разведение тамбурмажоров. А? (Обнимает ее).

Мари (тревожно). Оставь!

Тамбурмажор. Дикий зверь.

Мари (злобно). Только тронь!

Тамбурмажор. Чорт, что ли, глядит у тебя из глаз?

Мари. А хоть бы и так. Мне все равно.

УЛИЦА

Капитан. Доктор. Войчек.

(Капитан, пыхтя, идет по улице, останавливается, отдувается, оглядывается. Полдень).

Капитан. Господин доктор, лошади приводят меня в ужас, когда я думаю, что бедные твари принуждены ходить пешком. Не бегите же так. Не размахивайте так тростью по воздуху. Вы же гонитесь за смертью. Хороший человек... (Он хватается доктора за полу). Господин доктор, позвольте мне спасти человеческую жизнь!.. Господин доктор, я так тоскую, со мной что-то таинственное, мне всегда хочется плакать, когда я вижу мой висящий на стене скюртук... вот он висит.

Доктор. Хм! Одутловатый. Да, господин капитан, вас может поразить апроplexia cerebri, но, может быть, вам разобьет только одну сторону, и только одна будет парализована. Но в лучшем случае вы будете парализованы только умственно и будете прозябать дальше: таковы примерно ваши перспективы на ближайшие четыре недели.—Впрочем, я могу вас уверить, что вы представляете один из интереснейших случаев, и, если богу угодно, чтоб ваш язык был парализован только частично, мы произведем бессмертные эксперименты.

Капитан. Господин доктор, не пугайте меня! Уже бывали случаи, что люди умирали от страха, просто от одного страха!—Я уже вижу людей с лимонами в руках,—но они скажут, он был хороший человек, хороший человек.—Гробовой гвоздь!

Доктор (протягивая ему шляпу). Что это такое, господин капитан? Это пустая голова!

Капитан (делает складку из полы). Что это такое, господин доктор? Это тупость!

Доктор. Свидетельствую вам мое почтение, глубокоуважаемый господин шпицрутен.

Капитан. Я также, любезнейший, гробовой гвоздь. (Войчек проходит мимо). А, Войчек, чего ты так мчишься? Стой, Войчек. Ты бежишь по свету, словно открытая бритва. Можно обрезать об тебя. Ты бежишь, словно тебе предстоит обрить целый полк кастратов и ты будешь повешен с исчезновением последнего волоса. Да, по поводу длинных бород. Что же я хотел сказать? Войчек?... Длинные бороды...

Доктор. Еще Плиний говорит, что нужно отучать солдат от длинных бород...

Капитан (продолжает). Ха! о длинных бородах! Как обстоит дело, Войчек? Тебе еще не случалось находить в

своей миске волоса из бороды? Э, ведь ты же понимаешь меня? Человеческий волос из бороды какогонибудь сапера, какогонибудь унтер-офицера, какогонибудь... Какогонибудь тамбурмажора? А, Войчек? Но у тебя добрая жена! Тебе живется не так, как другим.

Войчек. Так точно! Что вы хотите сказать, господин капитан?

Капитан. Какую рожу корчит малый! Не таращи так глаза на небо. Может и не в супе, а если поторопишься и завернешь за угол, то еще успеешь найти волос на губах! На губах, Войчек! Я много испытал любви, Войчек! Парень, да ты стал белее мела!

Войчек. Господин капитан, я бедняк. У меня больше ничего нет на свете! Господин капитан, если вы шутили...

Капитан. Шутил? Я! Что бы тебе? Шутил! Малый!

Доктор. Пульс, Войчек, пульс! Частый, наполненный, прерывисто неровный.

Войчек. Господин капитан! Земля горяча, как пекло. Меня пронизывает холод, ледяной холод! Ад холоден! Давайте биться об заклад!—Невозможно!—Господи!—Господи! Невозможно!

Капитан. Парень, потише! Или захотел пулю в голову! Ты режешь меня своими глазами. Я хотел тебе добра, потому что ты хороший человек, хороший человек!

Доктор. Личные мускулы неподвижны, напряжены, повременим подергиваются. Положение тела неподвижно, напряжено...

Войчек. Я пойду. Все может случиться с человеком, все!—Хорошая погода, господин капитан! Посмотрите, какое славное горячее серое небо. Хочется забить в него крюк и повеситься на нем, из-за одной черточки между да—и снова да—и нет. Господин капитан, Да и Нет? Да виновато в Нет, или Нет в Да. Я думаю об этом. (Уходит большими шагами, сначала медленно, потом все быстрее).

Доктор (кричит вслед). Феномен, Войчек! Прибавку!

Капитан. Мне прямо страшно за человека! Как быстро! Длинный мошенник кидается вперед, словно тень от паучьей ноги, а короткий—семенит. Длинный—молния, а короткий—гром. Ха-ха, все еще взапуски! Я этого не терплю! Хороший человек бережлив и любит свою жизнь. Хороший человек не куражится. Куражится негодай. Я только затем пошел на войну, чтоб укрепиться в своей любви к жизни.

(Уходит).

КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Войчек. Андрес. После полудня.

Андрес (поет): Служанка у хозяйки клад,
Весь день она лелеет сад,
Весь день она лелеет...

Войчек. Андрес!

Андрес. Ну?

Войчек. Хорошая погода.

Андрес. Праздничная погода.—Музыка за городом. Давеча прошли туда красотки. Люди толкуются. Дело идет!

Войчек (тревожно). Танцы, Андрес? Они танцуют?

Андрес. Скажут и пляшут.

Войчек. Танцы! Танцы!

Андрес. А пусть себе! (Поет):

Весь день она лелеет,
Покамест полночь не пробьет,
Все на солдат глазеет.

Войчек. Андрес, я не нахожу себе покоя.

Андрес. Дурень!

Войчек. Я должен выйти. У меня все кружится в глазах. Танцы! Танцы! Я ей покажу! Проклятая.—Андрес!

Андрес. Чего тебе нужно?

Войчек. Я должен выйти. Должен взглянуть.

Андрес. Из-за бабы?

Войчек. Я должен выйти. Здесь так жарко.

ПЕРЕД КАБАЧКОМ

Окна открыты, танцы. Скамьи перед домом. Парни и девушки. Народ. Войчек. Вечер.

1-й подмастерье (поет):

В чужой сорочке гуляю я,
Воняет водкой душа моя.

2-й подмастерье. Не сделать ли мне из дружбы дыру в твоем естестве, братец? Вперед! Я хочу сделать дыру в твоем естестве! Я, братец, тоже не промах, ты знаешь!—Я всех блох перебею у тебя на теле.

1-й подмастерье. Моя душа воняет водкой! Даже деньги гниют от этого! Ах, незабудочка, как мир хорош! Я, братец, наплачу целую бочку! Я хотел бы, чтоб наши носы были парой бутылок и мы могли изливать их друг другу в глотки.

Андрес (в хоре): Охотник молодой
Скакал дорогою лесной.
Как весело гоняться по рошам и лугам!
Халло! Халло! Друзья,
Люблю охоту я.

(Войчек становится под окном. Мари и тамбурмажор, танцуя, проходят мимо, не замечая его).

Войчек. Он! Она! Дьявол!

Мари (танцуя). Еще! еще!

Войчек (задыхаясь). Еще—еще! (Резко вскакивает и падает обратно на скамью). Еще, еще! (Всплескивает руками). Вертитесь, кружитесь! Почему господь не задует солнце, чтоб все закружилось в непотребстве, мужчина и женщина, человек и скотина! Делает это средь белого дня, делает у всех на виду, как муха.—Женщина!—Женщина горяча, горяча!—Еще, еще! (Вскакивает). Молодчик! Как он ее облапил. Ее тело! Он, он владеет ею—как я раньше.

1-й подмастерье (проповедует на столе). Однако: когда странник стоит перед потоком времен или же объясняет себе божественную мудрость и говорит себе: для чего существует человек?—Но истинно говорю вам, чем бы жил земледелец, бочар, сапожник, врач, если бы господь не создал людей? Чем бы жил портной, если бы господь не вкоренил в людей чувство стыда, чем бы жил солдат, если б он не снабдил его потребностью быть убитым? Поэтому не смущайтесь! Да, да! это прекрасно и мило, но все земное тленно! Даже деньги обращаются в прах.—В заключение, мои любезные слушатели, давайте мочиться на крест, чтобы подох жид.

(Общее ликование, Войчек вскакивает и убегает прочь).

ПОЛЕ

Войчек. После захода солнца.

Войчек. Еще! еще! Молчи, музыка! (Он падает на землю). А, что? Что вы говорите? Громче, громче! Зарежь, зарежь—волчицу?—Зарежь, зарежь—волчицу! Я должен? Неужели я слышу это? Неужели это говорит ветер? (Поднимает голову). Я слышу опять, еще, еще, зарежь, зарежь!

КАЗАРМА. НОЧЬ

Андрес и Войчек на одной кровати. Луна.

Войчек (расталкивает Андреса). Андрес! Андрес! Я не могу спать. Когда я закрываю глаза, все начинает кружиться, и я слышу скрипки еще, еще, и потом кто-то говорит из стены. Ты ничего не слышишь?

Андрес. Да!—Пусть себе танцует! Наш брат устал, а там спаси нас, господь, аминь. (Снова засыпает).

Войчек. Он все говорит: зарежь, зарежь! И будто ножом пронзает мне глаза!

Андрес. Спи, дурак.

КОМНАТА МАРИ

Мари. Войчек.

(Войчек входит. Мари идет к нему навстречу от окна, молча останавливается. День).

Войчек (пристально оглядывает ее и качает головой). Хм! Я ничего не вижу! Я ничего не вижу! О, нужно было бы видеть это, нужно было бы иметь возможность ощупать руками.

Мари (тревожно). Что с тобой, Франц?—Ты с ума сошел, Франц?

Войчек. Грех, без конца и края! Его воню, кажется, ангелов можно выкурить с неба! У тебя красные губы, Мари. Пузыря нет на них? А, Мари?—Ты хороша, как грех!—Может ли смертный грех быть так прекрасен?

Мари. Франц, ты бредишь.

Войчек. Дьявол!—Он так стоял с тобой? Вот так, так?

Мари. День долог, а мир стар: много людей могли стоять на том же месте, один за другим.

Войчек. Я его видел!

Мари. Много можно увидеть, коли есть глаза, и не слеп, и солнце светит.

Войчек (бросается на нее). Девка!

Мари. Только тронь, Франц! По мне лучше нож в горло, чем прикосновение твоей руки.

Войчек. Убью!

Мари (задорно). А коли и так!

Войчек. Женщина!—Нет, в тебе что-то должно быть! Каждый человек—бездна, голова кружится у того, кто в нее заглянет. Ишь ты! Ходит, как невинность! Чорт шельму метит. Разве я знаю как? Разве знаю?—Кто знает? (Уходит).

ДВОР ДОКТОРА

Доктор у слухового окна. Студенты и Войчек внизу. День.

Доктор. Господа, я на крыше, как Давид, когда он узрел Вирсавию, но я не вижу ничего кроме *culs de Paris* женского пансиона, которые сушатся в саду. Господа, мы дошли до важного вопроса об отношении субъекта к объекту. Если мы возьмем какой-нибудь предмет, в котором органическое самоутверждение божественного проявлено в столь высокой мере, и исследуем его отношение к пространству, к земле, к космосу, господа, если я швырну за окно эту кошку, как отнесется это существо к *centrum gravitationis* и собственному инстинкту? Эй, Войчек! (Орет). Войчек!

Войчек (поймал кошку). Господин доктор, она кусается.

Доктор. Парень. Он держит бестию так нежно, будто она его бабушка. (Сходит во двор).

Войчек. Господин доктор, у меня озноб.

Доктор (кидается к нему в полном восторге). Эй, ей! прекрасно, Войчек. (Потирает руки, берет кошку). Что я вижу, господа! (Он вытягивает губу). Новый вид куриной вши! Прекрасный вид! Существенное различие в окраске! (Кошка убегает). Господа! Животное лишено научного инстинкта. Зато вы можете увидеть нечто другое! Взгляните на этого человека! В течение четверти года он не ест ничего, кроме гороха. Замечаете ли вы действие этого! Пощупайте-ка, какой неровный пульс? А глаза?

Войчек. Господин доктор, у меня в глазах мутится. (Он садится на стул).

Доктор. Смелей, Войчек! Еще несколько дней, и конец! Пощупайте, господа, пощупайте. (Студенты щупают ему виски, пульс и грудь). А *propos*, Войчек. Пошевели-ка для господ ушами! Я всегда хотел показать им это. Два мускула у него активны. *Allons!* Живо!

Войчек. Ах, господин доктор.

Доктор. Скотина! Или мне придется шевелить тебе уши! Хочешь поступить, как кошка? Поглядите, господа. Это переходная степень к ослу. Возможно также, что это следствие женского воспитания. Сколько волос тебе уже выдернули, Войчек? Они совсем поредели в несколько дней! Да, горох, господа!

КАБАЧОК

Войчек, Андреас, народ, тамбурмажор, унтер-офицер. Вечер, свечи.

Войчек. Ты ничего не слышал?

Андреас. Он придет с одним товарищем.

Войчек. Он что-то сказал!

Андреас. Ты почему знаешь? Что мне об этом говорить?—Ну, он засмеялся, и потом сказал: славная красotka, вот так ляжки! И все.

Войчек (очень холодно). Так он сказал это?

(Тамбурмажор и унтер-офицер входят).

Тамбурмажор. Я мужчина. (Бьет себе грудь). Мужчина, говорю я! Кому чего нужно?—Кто не пьян, пусть убирается от меня.—Я ему нос в зад заколочу. Я. (К Войчеку). На, малый, лопай! Я бы хотел, чтоб мир был водкой! Водкой! Мужчина должен лопать!

Войчек (свистит).

Тамбурмажор. Малый, ты видно хочешь, чтоб я тебе вытащил язык из глотки и обмотал его вокруг тебя? (Они борются, Войчек побежден). Дать тебе вдохнуть столько воздуха, сколько старуха выпускает ветров? Дать?

Войчек (обессиленный и дрожащий, снова садится на скамью).

Тамбурмажор. Малый будет свистеть, покуда не по-синееет. (Поет):

Водка жизнь и счастье. Водка

Придает куражу.

(Уходит в глубину).

Одна. Этот нагулял жиру.

Другая. Цветет.

Войчек. Всеу свое время!

ЛАВКА СТАРЬЕВЩИКА

Войчек. Жид. Утро.

Войчек. Пистолетик дороговат.

Жид. Э, покупайте или не покупайте! Какая разница!

Войчек. Сколько стоит нож? (Он проводит по лезвию).

Жид. Как бритва. Хотите им себе горло перерезать? (Войчек вздрагивает). Ну, что такое? Я вам отдам его так же дешево, как всякий другой. Получите свою смерть дешево, но не даром. Ну, что такое?

Войчек. Им можно резать не только хлеб.
 Жид. Два гроша.
 Войчек. На! (Уходит).
 Жид. На! Слово это ничто! А это все же деньги.
 Собака!

КОМНАТА МАРИ

Мари одна. Перелистывает библию. Юродивый сидит рядом на корточках. Ребенок возле него. Полдень.

Мари. И не обрели ложь во устах его. Господи, господи! Не презри меня! (Она перелистывает далее). Но фарисеи привели к нему жену, уличенную в прелюбодеянии, и поставили ее посредине. Иисус же сказал: так и я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. (Складывает руки). Господи, господи, я не могу больше!—Господи, сделай только так, чтоб я могла молиться. (Ребенок прижимается к ней). Ребенок пронзает мне сердце. Прочь! (Она отталкивает ребенка и подходит к окну).

Юродивый (берет ребенка и рассказывает ему сказку на пальцах). У этого золотая корона, этот король. Завтра я принесу госпоже королеве ее дитя. Кровяная колбаса говорит: пойдем, ливерная колбаса...

Мари. Франц не пришел. Вчера нет, сегодня нет.—Здесь становится жарко! (Она распахивает окно). И пала к ногам его, и плакала, и омывала ноги его слезами, и отирала их волосами головы своей, и целовала ноги его, и помазала их благовониями. (Ударяет себя в грудь). Все умерло! Спаситель! Спаситель! Я хотела бы умастить твои ноги.

КАЗАРМА

Андрес. Войчек разбирает свои вещи. Послеобеденное время.

Войчек. Камзольчик, Андрес, не казенный. Он может тебе пригодиться, Андрес.

Андрес. Ладно.

Войчек. Крест моей сестры и колечко.

Андрес. Ладно.

Войчек. У меня еще есть образок, два сердца и славный золотой галун. Он лежал в библии моей матери, и на нем написано:

Пусть, как твою святую плоть,
 Мне грудь пронзит копье, господь.

Моя мать чувствует только, когда ей солнце светит на руки. Это ничего.

Андрес (попрежнему совершенно неподвижный, отвечает на все). Ладно.

Войчек. Андрес, она все же была единственная девушка.

Андрес. Кто была?

Войчек. Ничего. (Вытаскивает бумагу и читает). Фридрих Иоган Франц Войчек, солдат, стрелок второго полка, второго батальона, четвертой роты, родился в благовещение 20 июля. Мне сегодня исполнилось 30 лет 7 месяцев и 12 дней.

Андрес. Франц, ты уходишь в лазарет. Бедняга, ты должен пить водку с порохом, это хорошо от лихорадки.

Войчек. Да, Андрес, когда плотник собирает стружки, никто не знает, чья голова будет лежать на них.

УЛИЦА

Мари. Старуха на скамье вяжет. Дети играют. Войчек. Закат.

Маленькие девочки (шагают попарно и поют. Мальчики шагают впереди):

Как солнце в сретенье горит
 И рожь стоит в цвету,
 Они пошли гулять на луг,
 Попарно все пошли,
 Флейтисты были во главе,
 А сзади скрипачи,
 Все были в красных башмачках...

(Разбегаются).

1-й ребенок. Это не хорошо!

2-й ребенок. И чего тебе всегда нужно?

Все. Хорошо! Хорошо!

2-й ребенок. Теперь что-нибудь другое!

Все. Да, что-нибудь другое, другое!

1-й ребенок. Мари, потанцуй с нами!

Все. Да, да, иди, потанцуй с нами!

Мари. Я не могу.

2-й ребенок. Почему?

Мари. Потому.

2-й ребенок. А почему потому?

1-й ребенок. Тогда спой нам что-нибудь!

Все. Да Мари! Спой! Спой! Ты должна спеть что-нибудь! Иди! Спой, Мари, и потанцуй с нами.

Мари (встает). Ну, идите, карапузы. Беритесь за руки. (Становится с ними в хоровод и ходит, напевая танец).

Перстень, перстень, ай—венок,
Приготовь котел воды,
Выстираем за-автра
Полотенцы, и сорочки,
И узорные платочки.

(Дети разбегаются и приседают).

Ки-ке-ри-ки!

Мари. Бабушка, расскажи что-нибудь.

Дети (все бегут к ней). Бабушка, бабушка, расскажи что-нибудь! Тише! Бабушка должна рассказать. Тише. Расскажи, бабушка!

Старуха. Жил был... (Дети стоят и сидят на корточках вокруг нее, Мари среди них). Жил был однажды бедный ребенок, и не было у него ни отца, ни матери. Все умерли. И он пошел на поиски и искал день и ночь. И потому что на земле больше никого не было, он захотел пойти на небо, и луна смотрела на него так приветливо, но когда он, наконец, дошел до луны, она оказалась куском гнилого дерева. И тогда он пошел к солнцу, но когда он дошел до солнца, оно оказалось увядшим подсолнечником, а когда он пришел к звездам, они оказались маленькими золотыми мухами и были насажены так же, как сорокопуд насаживает мух на терновник. А когда он опять захотел на землю, земля оказалась опрокинутым горшком, и он остался совсем один и тогда он сел и заплакал, и он до сих пор сидит и все совсем один.

Войчек (выходит сзади Мари). Мари!

Мари (вздрагивает).

Войчек. Пойдем, Мари. Пора.

Мари. Зачем?

Войчек. Почему я знаю.

ЛЕСНАЯ ДОРОГА НА БЕРЕГУ ПРУДА

Мари. Войчек сидит на дерновой скамье. Мари встала. Сумерки.

Мари. Где же город? Темно.

Войчек. Ты должна побыть здесь, Мари. Иди, сядь.

(Тянет ее на скамью).

Мари. Мне нужно итти.

Войчек. Не сотрешь себе ног в кровь беготней.

Мари. Что с тобой?

Войчек. Знаешь ли ты, как долго это длится, Мари?

Мари. В троицу два года.

Войчек. А знаешь ли ты, сколько еще продлится?

Мари. Я должна итти готовить ужин.

Войчек (удерживает ее за руку). Зябнешь, Мари? А все же ты теплая! Какие у тебя горячие губы! Горячее дыхание девки! И все же я отдал бы небо, чтоб еще долго целовать их.—Зябнешь? Когда человек холоден, он больше не зябнет! Ты не будешь зябнуть от утренней росы, Мари.
(Мари падает на скамью).

Мари. Что ты говоришь?

Войчек. Ничего.

(Молчание).

Мари. Какая красная луна восходит.

Войчек. Как окровавленное железо.

Мари. Что ты затеял, Франц? Ты так бледен. (Он хватает ее за запястье, она вскакивает). Франц, остановись! Ради бога! Помогите! Помогите!

Войчек (поднимается и ударяет ножом). Вот тебе, вот тебе! (Она склоняется. Войчек над ней). Не можешь умереть? (Колет снова). Так! Так! А, она еще трепещет! (Колет). Все еще нет? Все еще нет?—Еще зябнешь? (Колет).—Ну, мертва наконец? (Он бросается прочь). Мертва! Мертва!

КАБАЧОК

Войчек. Кэтэ. Хозяин. Танцоры. Ночь. Свечи.

Войчек (сидит на первом плане, Кэтэ у него на столе). Все танцуйте! Еще! Потейте и воняйте! Когда-нибудь вас всех чорт поберет!

(Он стаскивает Кэтэ со стола, танцует с ней и поет):

Ах, дочка, ах, родная,
Как в ум могло прийти
Извозчику на шею
Повеситься в пути?

Вот как, Кэтэ! Садись. (Она садится на его стол). Мне жарко! Жарко! (Он снимает куртку и садится на стол). Так-то! Чорт одного ташит, а другого оставляет на воле! Кэтэ, ты горячая! Почему ты? Кэтэ, ты еще тоже будешь холодной. Будь благоразумна. Ты поешь?

Кэтэ (поет):

Я жить у швабов не хочу
И длинных платьев не ношу.
Ведь длинный шлейф да башмачки
Носить служанкам не с руки.

Войчек (хватает ее). Нет сапог! Можно и без сапог угодить в пекло.

Кэтэ (отталкивает его. Поет):

Фу, срам! Ты наглый господин,
Спрячь талер свой и сгинь один.

Войчек. Да, правда! Я бы не хотел запачкаться в крови. Кэтэ (встает). А что у тебя на руке?

Войчек. У меня? У меня?

Кэтэ. Красное. Кровь. (Их окружают люди).

Войчек. Кровь? Кровь?

Хозяин (подходит). У-у! Кровь!

Войчек. Я кажется порезал себе здесь правую ладонь.

Хозяин. Как же кровь попала на локоть?

Войчек. Я вытер ее.

Хозяин. Что? Правую ладонь о правый локоть? Вот ловкач!

Юродивый. И тогда великан сказал: я чую, чую, чую человечье мясо. Фу, уже смердит!

Войчек (со стола). Дьявол, чего вам нужно? Вам какое дело? Дорогу! Или первый же!.. Дьявол! Вы думаете, я убил кого-нибудь? Разве я убийца? Чего таращите глаза? Глазейте сами на себя. Дорогу!

(Он бросается вон).

ЛЕСНАЯ ДОРОГА НА БЕРЕГУ ПРУДА

Войчек. Ночь. Крадущаяся луна.

Войчек. Нож? Где нож? Он выдаст меня. (Он ищет по земле). Ближе, еще ближе! Что-то шевелится! Тише!— Вот! (Он дотрагивается до трупа). Мари! А! Мари! Тихо. Все тихо!— Почему ты так бледна? Что у тебя за красный шнурок на шее, Мари? У кого своими грехами заработала ожерелье? Ты была черна от них, черна! Разве я заставил

тебя побледнеть?— Почему так дико растрепаны твои черные волосы? Ты сегодня не заплетала своих кос. (Он ощупывает). Тут что-то лежит! Холодное, мокрое, тихое! Нож, нож! Нашел! Так! Прочь от этого места— люди!— Там. (Слышны голоса. Войчек притаился в кустах у пруда. Через некоторое время): Так! Туда вниз! (Он швыряет нож). Он тонет в темной воде, как камень. Луна, как окровавленное железо! Разве весь мир хочет разболтать об этом?— Нож лежит слишком близко. Когда они станут купаться, кто-нибудь его найдет! (Он входит в пруд). Где? Где? Когда они будут нырять за ракушками, он окажется в песке! Э, он заржавеет, кто сможет признать его?— Лучше бы я его сломал!— Я все еще в крови? Я должен умыться! Здесь пятно и тут тоже!

(Он входит глубже в пруд. Приходят люди).

1-й горожанин. Стой!

2-й горожанин. Слышишь? Тише! Там!

1-й горжанин. Чу! Там! Снова звук!

2-й горожанин. Это вода! Она зовет. Уже давно никто не тонул! Прочь отсюда! Не хорошо ее слушать!

1-й горожанин. Уу! Опять!— Словно умирающий человек.

2-й горожанин. Жутко! Так сыро, повсюду туман, рассвет, и жужжание жуков, словно звук разбитых колоколов. Пойдем!

1-й горожанин. Нет, слишком явственно! Слишком громко! Туда наверх! Идем со мной!

УЛИЦА

Дети играют. Раннее утро.

1-й ребенок (прибегает). Идем к Мари!

2-й ребенок. Что такое?

1-й ребенок. Ты не знаешь? Все уже ушли. Она лежит за городом.

2-й ребенок. Где?

1-й ребенок. Слева над ямой в лесу, у красного креста.

2-й ребенок. Пойдем скорей, чтоб еще успеть посмотреть. Не то они унесут ее.

(Все убегают).

ЛЕСНАЯ ДОРОГА НА БЕРЕГУ ПРУДА

Судейский сторож, врач, судья и народ вокруг трупа.
Солнце.

Полицейский (становится на колени и обыскивает труп). Славное убийство, настоящее убийство, хорошее убийство. Такое хорошее, что лучше требовать нельзя. У нас уж давно такого не бывало.

Перевела с немецкого
М. Рыжкина

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Георг Бюхнер. <i>А. Дживелегова</i>	5
Смерть Дантона (<i>драма</i>)	15
Войчек (<i>трагедия</i>)	77

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА

- Д. Г. Байрон — Драмы, ц. 1 р. 50 к.
 — „Дон-Жуан“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 60 к.
 О. де-Бальзак — „Шагреневая кожа“, ц. 1 р.
 Сем Бенелли — „Драматические поэмы“, ц. 1 р. 20 к.
 Э. Верхарн — „Поэмы“, ц. 45 к.
 П. Гальвос — „Очарованный кавалеро“, ц. 1 р. 50 к.
 Г. Гейне — „Путевые картины“, ч. 1-я, ц. 35 к., ч. 2-я, ц. 65 к.
 В. Гёте — „Фауст“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 15 к.
 — „Страдания юного Вертера“, ц. 40 к.
 — „Поэзия и правда“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 35 к.
 И. Гердер — „Сид“, ц. 35 к.
 К. Гольдони — „Комедии, ч. 1-я, ц. 60 к., ч. 2-я, ц. 55 к.
 Т. Гофман — „Музыкальные новеллы“, ц. 30 к.
 — „Фантастические пьесы в манере Калло“, ц. 1 р. 60 к.
 К. Гоцци — „Сказки для театра“, т. 1-й, ц. 1 р. 60 к., т. 2-й, ц. 2 р.
 Ф. Грильпарцер — Пьесы, ц. 2 р. 50 к.
 В. Гюго — „93-й год“, ц. 1 р.
 Э. Зола. — „Западня“, ц. 80 к.
 — „Труд“, ц. 2 р.
 Эса де-Кэйрош — „Реликвия“, ц. 70 к.
 — „Рассказы“, т. 1-й, ц. 1 р. 50 к.
 Г. Клейст — „Собрание сочинений, т. 1-й, ц. 1 р. 75 к., т. 2-й, ц. 2 р.
 Дж. Конрад — „Каприз Олмэйра“, ц. 90 к.
 К. Лемонье — „Завод“, ц. 1 р.
 — „Рог призыва“, ц. 70 к.
 Ляо-Чжэй — „Лисьи чары“, ц. 30 к.
 — „Монахи-волшебники“, ц. 1 р. 70 к.
 — „Письма“, ц. 60 к.
 Марат — „Новеллы“, ц. 1 р. 20 к.
 К. Ф. Мейер — „Театр Клары Газуль“, ц. 1 р. 20 к.
 П. Меримэ — „Волшебный мертвец“, ц. 60 к.
 Монголо-ойратский героический эпос, ц. 1 р. 80 к.
 Исэ-Моногатари — Повесть древней Японии, ц. 1 р. 20 к.
 Новалис — „Гейнрих фон-Офтердинген“, ц. 35 к.
 А. де-Ренье — „Героические мечтания Тито Басси“, ц. 70 к.
 Р. Роллан — „Театр революции“, ц. 55 к.
 — „Трагедия веры“, ц. 1 р. 50 к.
 Сезан — „Сергюзешт“, ц. 80 к.
 Э. Синклэр — „Испытания любви“, ц. 1 р. 40 к.
 Стендаль — „Пармский монастырь“, ч. 1-я, ц. 1 р. 60 к., ч. 2-я, ц. 1 р. 75 к.
 Р. Тагор — Пьесы, ц. 1 р.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

- О. Уитмэн — „Листья травы“, ц. 1 р.
 Усама Ибн-Мункыз — „Книга назиданий“, ц. 70 к.
 Г. Дж. Уэллс — „Любовь и м-р Льюишэм“, ц. 1 р. 50 к.
 — „Рассказы о времени и пространстве“, ц. 1 р. 50 к.
 А. Франс — Рассказы, ц. 35 к.
 Б. Шо — Пьесы, ц. 1 р. 50 к.
 „Французская Революция в провинции и на фронте“.
 Б. Богаевский — „Крит и Микены“ (Эгейская культура).
 Антология китайских лириков—ц. 40 к.
 „Хетты и хеттская культура“.
 Экспрессионизм — Сборник статей, с иллюстрациями, ц. 1 р. 40 к.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- П. Амн — „Искатели золота“.
 Г. д'Аннуцио — „Ноктюрн“, ц. 1 р.
 П. Бенуа — „Атлантида“, ц. 60 к.
 — „Дорога гигантов“, ц. 75 к.
 Г. Бергстедт — „Александрсен“, ц. 1 р. 75 к.
 — „Праздник Йоргена“, ц. 90 к.
 С. Берже — „В то время, как он сражается“.
 А. Бери — „Страдания толстяка“, ц. 50 к.
 С. Бржозовский — „Зарево“, роман из эпохи народо-вольцев, ц. 1 р. 25 к.
 Ф. Верфель — „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к.
 К. Гамсун — „Соки земли“, ц. 65 к.
 — „Местечко Сегельфос“.
 Г. Гауптман — „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к.
 П. Гзелль — „Беседы А. Франса“, ц. 70 к.
 О. Генри — Рассказы, ц. 1 р.
 — „Короли и капуста“, ц. 90 к.
 — „Рассказы жулика“.
 Г. Гольст — „Лирические драмы“, ц. 45 к.
 Л. Деллюк — „В дебрях кинематографа“.
 Ж. Дюамель — „Полуночная исповедь“, ц. 75 к.
 Э. Зелигер — „Петер Фосс“.
 С. Лагерлев — „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к.
 Р. Маран — „Батуала“, ц. 45 к.
 М. Маркс — „Женщина“, ц. 50 к.
 М. Матерлинк — „Белая невеста“, пьеса, ц. 40 к.
 К. Мейринк — „Голем“, ц. 70 к.
 Ф. де-Миомандр — „Золотой телец“.
 Дж. Мэйзфилд — Пьесы, ц. 60 к.
 Папалаги. — Речи тихоокеанского вождя, ц. 30 к.
 Дж. Папини — „Конченный человек“, ц. 1 р. 20 к.
 Ж. Ромэн — „Доногоо-Тонка“, ц. 25 к.
 Р. Роллан — „Кола Бренъон“, ц. 70 к.
 — „Пьер и Люс“, ц. 35 к.
 — „Клерамбо“, ц. 1 р.
 — „Аннетт и Сильвия“, ц. 55 к.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| Дж. Синг | — „Герой“, пьеса, ц. 55 к. |
| Э. Синклер | — „Сто процентов“, ц. 75 к. |
| | — „Ад“, пьеса, ц. 75 к. |
| Струг | — „Деньги“, 1 р. 40 к. |
| Г. Уэллс | — „Неугасимый огонь“, ц. 40 к. |
| Ф. Унфу | — Драмы, ц. 1 р. 10 к. |
| А. Франс | — „Жизнь в цвету“, ц. 80 к. |
| Л. Франк | — „Человек добр“, ц. 30 к. |
| Л. Фульда | — „Тень осла“, пьеса, ц. 80 к. |
| К. Штернгейм | — „Четыре новеллы“, ц. 50 к. |
| Б. Шо | — „Назад к Мафусаилу“, пьеса. |
| К. Эдмид | — „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к. |
| | — „Тимур“, рассказы. |
| К. Эйнер | — „Испытание богов“, пьеса. |

СЕРИЯ ДЕТСКИХ КНИГ

- | | |
|---|---|
| „Английские детские песни“, пересказ С. Маршака, рисунки В. Конашевича, ц. 1 р. | |
| В. Гауф | — „Сказки“, с рис. Ю. Черкесова, ц. 1 р. 10 к. |
| Д. Дефо | — „Робинзон Крузо“, сокращ. изд. с иллюстр. Гранвиля, ц. 1 р. 50 к. |
| Р. Распе | — „Мюнхгаузен“, с рис. Густ. Доре, ц. 70 к. |
| М. Твэн | — „Приключения Тома“, с иллюстр. Н. Э. Радлова, ц. 1 р. 60 к. |

ВЫШЛИ В СВЕТ

издаваемые «ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» журналы:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

Под редакцией Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова,
К. И. Чуковского и Абр. Эфроса.

Книги 1-я, ц. 80 к., 2-я, ц. 1 р. 35 к., 3-я, ц. 1 р. 80 к.
и 4-я, ц. 2 р. 50 к.

Печатается № 1(5)

„ВОСТОК“

Под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, академика
И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Алексеева,
профессора Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

Книги 1-я, ц. 1 р. 50 к., 2-я, ц. 1 р. 40 к., 3-я,
ц. 2 р. 50 к. и 4-я.

Печатается № 5.